

Павел Гнесюк

СЕКРЕТНАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ НКВД

ЗАДАНИЕ: ИЗВЛЕЧЬ
АРЬЯКОВ МЕЧ –
АРТЕФАКТ, ДАРУЮЩИЙ
ВЛАСТЬ НАД СУДЬБАМИ

СОВ. СЕКРЕТНО

ЗА РОДИНУ!
ЗА СТАЛИНА!

СИМВОЛ СОЛОМОНА.
КЛЮЧ К СУДЬБЕ

ОДНА РЕЛИКВИЯ.
СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА
ЗА ИСТИНОЙ.

ВСЕВОЛОД ГРАДОВ

ЕГО КРОВЬ ДАЁТ ПРАВО
НА МЕЧ

КУРТ ФОН ШТУБЕН

НАСЛЕДИЕ «АНЕНЕРБЕ».
ДОЛГ ВЕРНУТЬ

НАСЛЕДНИКИ МЕЧА ВЛАСТИ

Павел Гнесюк

Наследники меча власти

«Автор»

2026

Гнесюк П. Б.

Наследники меча власти / П. Б. Гнесюк — «Автор», 2026

Октябрь 1941 года, когда враг под Москвой, НКВД отправляет в Рязань секретную экспедицию, — извлечь из подземного храма Агриков меч, дарующий власть над судьбами. Верховный Хранитель, прячет реликвию до лучших времён. В наши дни Хранители находят тайник, но по их следам идут. Олигарх Градов считает меч своим, так как его дед руководил поисками артефакта. Немецкий промышленник Курт фон Штубен, наследник «Аненербе», кто охотился за клинком 80 лет назад. Оба готовы на шантаж, убийства. Хранители отправляют двум врагам искусные подделки, а сами едут в Ярославль за настоящим клинком. Когда правда вскрывается, охота превращается в смертельную гонку. Меч найден, но финал не предreshён. Градов и Штубен встречаются лицом к лицу у витрины музея. Между ними пропасть ненависти и один древний клинок. Война за меч власти только начинается. «Наследники меча власти» — приключенческий триллер, исторический детектив, мистика, экшен и шпионская интрига. Они унаследовали не только меч, но и войну.

© Гнесюк П. Б., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Дом летучих голландцев	5
Глава 2. Тайна рязанского монастыря	17
Глава 3. Мистическое подтверждение	31
Глава 4. Видение наследника	45
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Наследники меча власти

Глава 1. Дом летучих голландцев

Берлин, февраль 1941 г.

Берлин задыхался под серым одеялом февральской ночи. Свинцовые облака, гонимые балтийским ветром, низко нависали над острыми шпилями и куполами, стирая грань между небом и камнем. В кабинете Новой рейхсканцелярии, огромном, как неф готического собора, царил искусственный порядок: свет огромной люстры дробился в гранях хрусталя и тонул в толще бордовых мраморных панелей. Обычно этот зал наполнял фюрера ощущением незыблемой мощи, но сегодня вечером стены, казалось, сдвигались, а свет резал глаза.

Адольф Гитлер стоял у гигантского, во всю стену, картографического стола, взгляд его скользил не по размеченным квадратам будущего театра военных действий, а по циферблату массивных напольных часов. Минутная стрелка дернулась и замерла на римской десятке. Двадцать два часа пятьдесят минут. Время тянулось густое, как патока, и такое же тёмное. Он машинально поправил Железный крест на груди, хотя был одет не в привычный партийный френч, а в простой, почти мешковатый гражданский костюм тёмно-серого сукна. Пальцы коснулись шершавой ткани, и он невольно поморщился. Маскарад. Унизительная необходимость прятаться, словно заговорщику, в собственной столице.

Гиммлер настаивал. Рейхсфюрер СС, возникший сегодня утром на пороге с докладом особой важности, говорил тихо, вкрадчиво, но с той непреклонной фанатичностью, которая одновременно и раздражала, и завораживала Гитлера. «Мой фюрер, это не просто очередной сеанс. То, что мы обнаружили, лежит за гранью привычной астрологии Крафта. Контакт с хтоническими силами требует абсолютной секретности. Толпа не должна знать, куда направляется вождь в ночь перед величайшим решением. Любопытные глаза в ведомстве Бормана, иностранные корреспонденты... мы не можем допустить утечки. Вы поедете инкогнито».

Инкогнито. Слово царапнуло гортань, когда он мысленно его повторил. Он, вершитель судеб Европы, тот, чьи армии через несколько месяцев обрушат стальной кулак на большевистскую гидру, должен красться по задворкам Берлина, словно вор. Но искушение было слишком велико. Крафт — этот нервный, вечно потеющий швейцарец с глазами спаниеля — пообещал ему нечто исключительное. Не туманные аллегории Нострадамуса, не гороскопические предсказания на неделю, а прямой, живой голос из бездны времён. Голос, указывающий путь к абсолютному триумфу.

Гитлер подошёл к высокому венецианскому зеркалу в тяжёлой золочёной раме. Оттуда на него глянул бледный человек с запавшими щеками и лихорадочным блеском в глазах. Без форменной фуражки, приглаженные волосы падали на лоб, делая его похожим на усталого клерка или провинциального учителя. Это было невыносимо. Он резко отдернул руку от лацкана и быстрым шагом направился к неприметной двери в дальнем конце кабинета, ведущей в личные апартаменты.

В гардеробной его уже ждал Юлиус Шауб, личный адъютант, застывший с чёрным кашемировым пальто в руках. Движения адъютанта были отточенными, бесшумными. Он помог фюреру надеть пальто свободного покроя, без знаков различия, без вездесущей свастики на рукаве. Лишь на подкладке, у самого сердца, была вшита крошечная серебряная руна «Зиг», личный талисман, подарок Гиммлера. Гитлер поправил шарф, низко надвинул на лоб полы мягкой фетровой шляпы, и отражение в зеркале стало почти чужим. Призрак в чёрном, сотканный из теней и воли.

— Автомобиль подан, мой фюрер, — негромко произнёс Шауб. — Выход через восточную галерею. Охрана рассредоточена по маршруту, но без видимого эскорта. Рейхсфюрер ожидает в машине.

Гитлер кивнул, он не проронил ни слова с тех пор, как покинул картографический зал. Молчание было частью ритуала, моментом сосредоточения. Они вышли в длинную, слабо освещённую галерею. Здесь не было помпезных мозаик и имперских орлов, лишь голые каменные стены, гулкое эхо шагов и холод, пробирающий до костей. Этот путь использовался слугами и курьерами, и сейчас он служил тайной лазейкой для властелина. Спустившись по винтовой лестнице, Гитлер толкнул тяжёлую, обитую железом дверь и вдохнул ледяной воздух ночи.

Во внутреннем дворе, замкнутом со всех сторон глухими стенами рейхсканцелярии, стоял чёрный «Мерседес-Бенц 770» с погашенными фарами. Задняя дверца была приоткрыта, из салона тянуло смесью дорогой кожи и терпкого одеколona. Гитлер нырнул внутрь, дверь тут же захлопнулась, отрезая мир. Рядом, в полумраке, уже сидел Генрих Гиммлер. Рейхсфюрер, в отличие от фюрера, сменил чёрный эсэсовский мундир лишь на кожаное пальто, скрывавшее ту же форму под собой. Пенсне блеснуло двумя искорками.

— Зиг хайль, — негромко произнёс Гиммлер, но без обычного выкрика, почти интимно. — Всё готово. Крафт ждёт нас на месте, он провёл с медиумом последние часы, подготавливая её сознание к трансу.

— Надеюсь, на этот раз его потуги стоят того, Генрих, — глухо ответил Гитлер, глядя прямо перед собой. — Мы не для того отвлекаемся от планирования «Барбароссы», чтобы слушать очередной бред о движении звёзд. Мне нужна точка силы. Конкретная. На карте.

— Вы получите её, — Гиммлер позволил себе лёгкую, почти незаметную улыбку. — То, что мы нашли в архивах «Аненербе», не оставляет сомнений. Древние знали то, что мы лишь заново открываем. Сегодняшний сеанс — не запрос, это диалог. Мы вызываем не духа умершего, а нечто гораздо более древнее и мощное. Эхо расы, существовавшей до ледников, до истории, до самих богов. Их знания впитались в кровь этой земли.

Автомобиль плавно тронулся. За рулём сидел эсэсовец из личной охраны, неподвижный, как автомат. Выехав из ворот рейхсканцелярии, машина нырнула на Фосштрассе и вскоре свернула на Вильгельмштрассе. Берлин за окнами тонул во тьме и холоде. Светомаскировка превратила некогда ярко освещённый город в лабиринт чёрных провалов. Фары, покрашенные синей краской, давали лишь слабое, призрачное свечение, едва выхватывающее из мрака очертания зданий, похожих на окаменевших великанов. Редкие прохожие, закутанные по самые глаза, испуганно жались к стенам, заслышав шум мотора.

Гитлер молча смотрел в окно. Город, который он мечтал перестроить в монументальную столицу мира Германию, сейчас казался декорацией к траурной мистерии. В этом мраке не было величия, была лишь настороженная, затаившая дыхание пустота. Иногда ветер бросал в стекло горсти колючего снега, и тогда город за окном окончательно растворялся в белесой круговерти. Фюрер машинально сжал кулак. Ему вспомнились строки из донесения службы безопасности: в рабочих кварталах недовольство, церковники шепчутся по углам, на восточных окраинах расклеивают листовки.

Подземное течение, которое не переломить одними парадными речами. Требовалось нечто большее. Нечто, что зажгло бы сердца слепой, иступлённой верой, или, на худой конец, дало бы ему, вождю, абсолютную, непробиваемую уверенность в конечном торжестве. Меч. Идея фикс, превратившаяся из смутных намёков Крафта в жгучую потребность. Меч, сияющий во тьме голубым пламенем, — чем не символ? Чем не оружие?

Автомобиль, миновав Парижскую площадь и набережную Кронпринценуфер, выехал к Шпрее. За чугунными перилами моста Мольтке угадывалась чёрная маслянистая вода. На противоположном берегу массивными глыбами высились здания правительственного квартала. Маршрут был проложен в обход оживлённых магистралей, по лабиринту боковых улиц, застро-

енных мрачными громадами второй половины прошлого века. Дома здесь стояли плотно, плечом к плечу, загораживая небо. Наконец, после очередного поворота, машина выехала на прямую, как стрела, линию набережной Тирпицуфер.

— Почти приехали. — Гиммлер чуть подался вперед.

Гитлер опустил стекло на несколько сантиметров, выпуская в салон сырой, пронизанный йодистым запахом реки воздух. Впереди из пелены мороси выросло здание, ради которого и был проделан весь этот путь. Дом номер 80-82 по набережной Тирпица. В просторечье — «Дом летучих голландцев».

Это было массивное строение в стиле неоготики, выстроенное в середине девятнадцатого века для нужд какого-то обанкротившегося пароходства. Пять этажей тёмно-красного, почти бурого кирпича, увенчанные по углам узкими башенками с чугунными шпилями, напоминавшими мачты призрачного фрегата.

Фасад, выходящий на реку, был изрезан стрельчатыми окнами, сейчас наглухо закрытыми ставнями, из-под них не пробивалось ни лучика света. Парадный вход украшал выщербленный временем барельеф с изображением Нептуна, бородатого и хмурого, сжимающего в руке трезубец. Влага и ветер за десятки лет изгрызли камень, придав лицу бога черты злобного демона.

Несмотря на кажущуюся заброшенность, здание жило. У бокового, неприметного въезда, скрытого чугунной аркой, застыли двое часовых в касках и с автоматами МР-40 на груди. При виде приближающегося «Мерседеса» они вытянулись в струнку. Машина, не снижая скорости, нырнула в арку и оказалась во внутреннем дворе — глубоком каменном колодце, где пахло плесенью, машинным маслом и карболкой.

Дверь автомобиля распахнулась. Гитлер ступил на брусчатку, и его тут же окутало влажным холодом. Он поднял воротник пальто, поёжившись, но не столько от температуры, сколько от липкого, иррационального чувства, всегда охватывающего его в таких местах. В рейхсканцелярии, в Оберзальцберге он был демиургом, центром вселенной. Здесь же он чувствовал себя просителем, пришедшим на поклон к силам, древним настолько, что сама идея тысячелетнего Рейха казалась им детской шуткой.

Их встречали. Высокая, сутулая фигура отделилась от стены и торопливым шагом направилась навстречу. Карл Эрнст Крафт. Его лицо в неверном свете единственной лампочки над дверью казалось восковой маской. Глубокие залысины, бегающий взгляд, вечно искусанные губы. Он был без пальто, в одном сюртуке, и мелко дрожал, то ли от холода, то ли от нервного возбуждения.

— Мой фюрер! — Крафт склонился в полупоклоне, потирая руки. — Для меня величайшая честь... всё готово. Субъект введён в состояние предтранса. Психическая рецептивность повышена до невероятных значений. Я использовал настойку по рецепту Парацельса, адаптированную для славянского психотипа, — он тараторил, захлёбываясь, но Гитлер прервал его нетерпеливым жестом.

— Результат, Крафт. Меня интересует результат.

— Он будет. Клянусь. Прошу вас следовать за мной.

Тяжёлая дубовая дверь с коваными петлями отворилась с протяжным, низким стоном, словно здание нехотя впускало непрошенных гостей в своё нутро. Изнутри пахло сухим, застоявшимся воздухом, отдающим ладаном и чем-то затхлым, напоминающим запах склепа. Гитлер, Гиммлер и Крафт вошли в вестибюль — огромный зал с колоннами, тонущий в первозданной тьме. Лишь под ногами тускло мерцали прямоугольники света от карманного фонаря, который включил шедший впереди эсэсовец.

Их шаги гулко отдавались под сводами, множась эхом, и казалось, что по залу идёт не трое людей, а целая процессия призраков. Миновав анфиладу пустых, заброшенных комнат, где под брезентовыми чехлами угадывались груды мебели, они подошли к массивной стальной

двери, больше похожей на вход в банковский сейф. Рядом, на стене, тускло горела табличка: «Отдел метеорологии и геофизических аномалий». Скучная, казённая надпись и оттого ещё более зловещая.

Дверь отворилась, пропуская их на узкую винтовую лестницу, круто уходящую вниз. Ступени были каменные, истёртые тысячами шагов, холод пронизывал подошвы ботинок. Спуск продолжался, казалось, бесконечно долго. Стены сжимались, воздух становился всё более плотным, напитанным влагой и запахом сырой земли. Гитлер, не привыкший к долгим физическим усилиям, тяжело дышал, но не сбавлял шага. Им двигала та же сила, что гнала его когда-то из окопов Первой мировой к вершинам власти, — нечеловеческая, всепоглощающая воля.

Наконец, лестница закончилась. Перед ними открылся длинный коридор, выложенный метлахской плиткой. Стены здесь были обиты чёрным бархатом, заглушавшим звуки. Газовые рожки, переделанные под электричество, давали тусклое, мерцающее пламя, выхватывающее из мрака лишь фрагменты: массивную дубовую дверь в конце, почерневший от времени порог, и стоящую на нём маленькую, сгорбленную фигуру.

Это была та самая женщина-медиум. Гитлер замедлил шаг, вглядываясь в неё. Она не подняла головы. Лица не было видно, лишь спутанные пряди седых волос и тонкие, униженные дешёвыми перстнями руки, безвольно повисшие вдоль тела. От неё исходило странное, почти осязаемое поле — смесь покорности и скрытой, потусторонней силы. Гитлер почувствовал, как по спине пробежал холодок, тот самый священный трепет, ради которого он сюда и явился.

Крафт отворил дверь, и взгляду открылась «Камера зеркал». Круглая комната, уходящая сводом во тьму. Семь чёрных свечей горели на равном расстоянии друг от друга, и их пламя, отражаясь в крошечных кусочках слюды, вкрапленных в штукатурку стен, создавало иллюзию звездного неба. В центре — массивный стол из морёного дуба, на котором покоился хрустальный шар, размером с человеческую голову. Вокруг стола — три высоких кресла с прямыми спинками. Больше ничего. Абсолютный аскетизм и абсолютная, давящая на барабанные перепонки тишина.

Гитлер переступил порог. Ему показалось, что пол под ногами слегка дрогнул, словно здание вздохнуло. Или это было лишь биение его собственного сердца? Он отбросил сомнения и прошёл к центральному креслу. Оно было чуть выше остальных, и сиденье было обито не бархатом, а грубой мешковиной, что создавало ощущение походного трона.

Гиммлер занял место слева, Крафт засуетился у стола, поправляя какие-то приборы — старинные астролбии, пучки сушёных трав, колбы с мутной жидкостью. Женщина-медиум осталась стоять у порога, покачиваясь из стороны в сторону, как заведённый маятник.

— Сядьте, — приказал ей Крафт. Голос его внезапно стал твёрдым, лишённым заискивающих ноток. — Сядьте и приготовьтесь. Путь открывается.

Женщина беззвучно, словно сомнамбула, проскользнула к столу и опустилась в третье кресло. Её лицо теперь было прямо напротив Гитлера. Он увидел её глаза — чёрные, бездонные, с неестественно расширенными зрачками. Казалось, она смотрит сквозь него, в какие-то дали, недоступные простым смертным.

Крафт взял со стола серебряный кубок, до краёв наполненный тёмной, маслянистой жидкостью, источавшей пряный, горьковатый аромат. Он поднёс его к губам женщины, и та выпила содержимое несколькими судорожными глотками. Затем Крафт зажёл последнюю, восьмую свечу, стоящую прямо в центре стола, перед шаром.

Пламя взметнулось, и в тот же миг все звуки в комнате исчезли. Не просто стихли — их поглотила ватная стена абсолютной, противоестественной тишины. Гитлер слышал только удары собственного пульса, гулкие, как шаги рока. Он подался вперёд, вцепившись руками в подлокотники кресла. Взгляд его был прикован к медиуму.

И тогда её тело начало содрогаться. Глаза закатились, открывая взору белки с красными прожилками. Губы зашевелились, но не произносили ни звука. Крафт поднял руки, словно

дирижёр перед оркестром, и начал свой монотонный речитатив — смесь гортанных рунических формул и латинских инвокаций, сплетающихся в единую пульсирующую нить заклинания.

Гитлер перестал дышать. Он знал: ещё мгновение — и ворота откроются. То, что он услышит здесь, в подземной камере «Дома летучих голландцев», навсегда изменит ход войны и его собственную судьбу. Свечи дрогнули. Хрустальный шар в центре стола начал медленно наполняться изнутри бледным, мертвенным голубым сиянием.

Крафт, пятясь, отворил последнюю дверь — низкую, обитую потемневшей медью, с выгравированным по периметру змеем, кусающим собственный хвост. Петли не издали ни звука, и Гитлер, сделав шаг вперёд, застыл на пороге. Сердце, до этого колотившееся в размеренном ритме, пропустило удар. Перед ним открылось пространство, не имевшее ничего общего с той империей бетона и стали, возведенную им наверху.

Это была «Камера зеркал» — название, до этой минуты остававшееся для него лишь строчкой в отчётах «Аненербе». Теперь оно обрело плоть. Круглая комната, совершенная в своей геометрической простоте, напоминала внутренность гигантского колодца, каменного пузыря, застывшего в чреве земли. Ни одного окна, ни одной прямой линии, за которую мог бы зацепиться взгляд. Стены были сплошь задрапированы тяжёлым чёрным бархатом, и ткань эта ниспадала глубокими вертикальными складками, подобно занавесу в храме, скрывающему святая святых. Она не просто поглощала свет — она пожирала само понятие эха. Гитлер машинально переступил с ноги на ногу и отметил, что звук его шагов умер мгновенно, всосанный, переваренный этой всепоглощающей чернотой. Тишина стояла такая, что он слышал, как шуршит кровь в висках.

Он медленно обвёл помещение взглядом. В центре, подобно языческому алтарю, высился массивный круглый стол, вытесанный из цельного ствола морёного дуба. Древесина за столетия превратилась в чёрный, чуть маслянистый на ощупь монолит, испещрённый сетью тончайших трещин. На его поверхности покоился хрустальный шар — идеальная сфера размером с детскую голову. В неверном свете свечей в глубине шара переливался призрачный дымок, и Гитлеру на миг почудилось, что там, внутри, движется что-то живое, запертое в хрустальной темнице. Рядом с шаром лежали разложенные веером старинные астрологические таблицы — пергаментные листы, покрытые выцветшими от времени символами, кругами, зодиакальными знаками и непонятными, острыми, как шрамы, рунами. По краям стола стояли серебряные кубки, колбы с мутными настойками, высушенные пучки полыни и маленький кинжал с костяной рукоятью.

Единственным источником света служили семь чёрных восковых свечей, расставленных по периметру комнаты в строгом равновесии. Их язычки пламени были неестественно ровными, неподвижными, словно нарисованными на чёрном бархате, и не отбрасывали теней — только бледный, мертвенный ореол, который не рассеивал мрак, а делал его почти осязаемым.

Гитлер проследил взглядом за ближайшим язычком и вдруг заметил в глубине бархатных складок крошечные, едва уловимые искры. Он прищурился. В штукатурку стен, под бархатом, были вкраплены осколки слюды. Каждый вдох колебал пламя свечи, и тогда миллионы этих микроскопических зеркал оживали, создавая жуткую иллюзию бесконечного звёздного пространства. Это была не красота — это было напоминание о бездне, разверзшейся прямо здесь, в нескольких метрах под берлинской мостовой.

Он поднял голову и не увидел ничего. Потолок терялся во мраке, уходя в неразличимую высоту, и это отсутствие границы давило сильнее, чем если бы над ним нависала гранитная плита. Казалось, камера не имеет верха — она уходит колодцем прямо в небо, но в небо чёрное, лишённое звёзд, наполненное лишь холодной пустотой. От этого кружилась голова.

Воздух в камере был спёртый, неподвижный, насыщенный таким количеством запахов, что они сливались в единый дурманящий, почти осязаемый туман. Первым шёл горький,

смолистый аромат ладана, въевшийся в каждую складку бархата, в каждую пору дерева. За ним следовала сладковатая, душная нота сандала, перебиваемая острым, химическим запахом нашатыря и ещё чем-то пряным, как гвоздика. И поверх всего этого — запах животного страха, того самого нервного пота, что источает человеческое тело на грани истерики. Этот запах не принадлежал ни Крафту, ни Гиммлеру. Гитлер понял: так пахнет медиум. Женщина, чьё тело было лишь инструментом, уже пропитала пространство своими флюидами, готовясь стать проводником в неведомое.

Он стоял на пороге, и его обуревали два противоречивых чувства. С одной стороны, эта комната — этот храм без божества, эта утроба земли внушала ему почти священный трепет. Он ощущал себя первосвященником доисторического культа, спустившимся в пещеру, чтобы спросить оракула. Здесь, в этом чреве, не было места условностям, политическим интригам, сводкам с фронтов. Здесь он был наедине с иррациональным, с теми хтоническими силами, что правили миром задолго до первого фараона. Он чувствовал себя властелином, которому покоряются не только армии, но и сама судьба.

Но одновременно, словно червь, точило другое, стыдное ощущение. Заговорщик. Вот кем он здесь был. Тайный проситель, крадущийся в подвал, словно алхимик в лабораторию, в поисках философского камня. Этот абсолютный контраст с помпезными, залитыми светом залами Рейхсканцелярии, с гигантоманией его архитектурных прожектов, с грохотом военных парадов, был ошеломляющим. Там он был центром вселенной. Здесь — лишь одним из ищущих, припавшим к источнику силы. И это унижение, эта тайная, непризнанная нужда заставляли его зубы сжиматься с ещё большей силой. Он смотрел на пульсирующее пламя свечи, и ему казалось, что чёрный бархат стен дышит, то приближаясь, то отступая, словно живое существо, обнюхивающее незваного гостя.

— Прошу вас занять центральное кресло, мой фюрер. — Крафт, словно угадав его состояние, слегка кашлянул и повторил, на этот раз тише.

Гитлер оторвал взгляд от хрустального шара и пересёк комнату. Три высоких кресла с прямыми спинками стояли полукругом. Центральное было чуть выше остальных, и сиденье его было обито не роскошным бархатом, а суровой мешковиной — сознательный аскетизм, апеллирующий к духу древних воинов. Гитлер опустился в него и почувствовал, как грубая ткань холодит спину даже сквозь пальто. Он выпрямился, положил руки на подлокотники и замер.

Гиммлер молча занял место по левую руку от него, превратившись в безмолвную тень. Крафт же засуетился, переставляя склянки и шепча что-то себе под нос. Дрожащей рукой он взял со стола серебряный кубок с густой, маслянистой жидкостью, источавшей запах полыни, аниса и ещё чего-то приторно-сладкого, как разложение. Медиум, всё это время стоявшая у порога, сделала шаг вперёд и без единого звука опустилась в третье кресло.

В этот момент Крафт зажёл восьмую свечу — ту, что стояла непосредственно перед хрустальным шаром, на маленьком бронзовом треножнике. Пламя взметнулось, и в то же мгновение Гитлер ощутил, как воздух сгустился, а все посторонние звуки исчезли. Даже тихое гудение где-то в вентиляции, до этого незаметно сопровождавшее их спуск, стихло. Комната погрузилась в абсолютную, вакуумную тишину, через которую пробивался лишь чёткий, как метроном, стук его собственного сердца.

Он подался вперёд, вцепившись пальцами в подлокотники так, что побелели костяшки. Взгляд его был прикован к лицу женщины. В свете чёрных свечей её черты казались застывшей маской, лишённой возраста. Седые пряди упали на лоб, скрывая глаза. Она не двигалась. Её дыхание было таким же ровным, как пламя свечей, но Гитлер знал — это затишье перед бурей. И он жаждал этой бури. Жаждал всем своим существом, изголодавшимся по чуду.

Крафт воздел руки над столом и начал речитатив — сначала тихо, почти шёпотом, затем всё громче. Гортанные звуки сталкивались с латинскими фразами, сплетаясь в единую, пуль-

сирующую нить, уходящую корнями куда-то в глубину подсознания. Гитлер перестал моргать. Хрустальный шар на столе начал медленно наполняться изнутри холодным, призрачным голубым сиянием. Точно таким же, какое, согласно легенде, должен был источать клинок, спрятанный где-то в лесах Востока. Знамение. Предвестник.

— Говори! — Мысленно приказал Гитлер, прожигая взглядом бесчувственное тело медиума. — Говори. Я пришёл услышать судьбу. И горе тебе, если она мне не понравится».

Крафт выдохнул коротко, судорожно, словно ныряльщик перед прыжком в ледяную воду, и взял со стола серебряный кубок. Сосуд был древним, с почерневшей от времени чеканкой, изображавшей переплетённых змей. Жидкость внутри колыхалась густо, маслянисто, источая сложный, дурманивший аромат. Горькая полынь переплеталась в нём с приторной сладостью опийного мака, а сквозь них пробивалась едкая, землистая нота мухоморов — тех самых, что шаманы северных племён испокон веков использовали для путешествий в мир духов. Крафт знал пропорции. Он выверил их с аптекарской точностью, ибо ошибка означала либо безумие, либо смерть.

Он склонился над женщиной, которую называли фрау Мартой — именем, взятым из воздуха, ибо настоящего её имени не знал никто, и поднёс кубок к её губам. Губы эти были сухими, потрескавшимися, бескровными. Крафт запрокинул ей голову, придерживая за затылок, и тонкая струйка тёмной жидкости потекла в горло. Фрау Марта сделала судорожный глоток, затем ещё один, и тело её пронзила мгновенная дрожь — первая реакция организма, распознавшего яд. Но она не сопротивлялась. Она давно перестала сопротивляться.

Гитлер наблюдал за этой процедурой с брезгливым любопытством. Ему претила сама мысль о том, чтобы прикасаться к этому существу грязной цыганке, недочеловеку, случайно извлечённому Крафтом из клоаки восточных дебрей. Но он знал: именно такие, стоящие на границе миров, и служат наилучшими проводниками. Их кровь, смешанная из десятка рас, их бродяжья душа, не привязанная к одному месту, их врождённая, впитанная с молоком матери склонность к трансу и видениям — всё это делало её идеальным инструментом. Грязным, отталкивающим, но незаменимым.

Он знал её историю. Крафт, одержимый поиском «чистого канала», объездил пол-Европы, прежде чем нашёл её в одном из цыганских таборов Восточной Пруссии, на отшибе, в лесу, где эти вечные скитальцы разбили свой лагерь. Табор был обречён, через несколько недель после того, как Крафт забрал женщину, эсэсовцы оцепили поляну и вывезли всех обитателей в неизвестном направлении. Но об этом фюреру не докладывали. Да это и не имело значения.

Ей было не больше тридцати, но выглядела она на все пятьдесят. Худое, измождённое тело, туго обтянутое серым рубищем, напоминавшим то ли монашескую рясу, то ли больничную сорочку. Ключицы выступали так резко, что, казалось, готовы прорвать кожу. Руки, униженные дешёвыми медными кольцами и перстнями с мутными камнями, нервно подрагивали. Но самым поразительным были её волосы — некогда, вероятно, чёрные как смоль, теперь они были прошиты густыми седыми прядями, создававшими жуткий контраст с молодым ещё лицом. И глаза. Огромные, чёрные, лишённые даже намёка на белок, они смотрели в никуда с выражением абсолютной, запредельной покорности. Она не говорила по-немецки, лишь на ломаной смеси румынского с какими-то гортанными диалектами, понятными, может быть, ещё двум-трём людям на всей планете. Но для того, что должно было произойти, язык был не нужен.

Крафт поставил пустой кубок на стол и сделал шаг назад. Его руки, до этого дрожавшие, обрели твёрдость. Он выпрямился во весь рост — невысокий, сутулый человечек с лицом вечного неудачника, но сейчас в нём появилось что-то от жреца, от шамана, от тех, кто веками стоял между людьми и бездной. Он раскинул руки в стороны, словно распиная себя на невидимом кресте, и заговорил.

Это был не обычный голос. Крафт, только что заискивающе лепетавший перед фюрером, исчез. Вместо него из горла полился низкий, вибрирующий речитатив — странная, завораживающая смесь гортанных древнегерманских заклинаний и латинских инвокаций, звучавших как приговоры. Слова накатывали волнами, то вздымаясь до почти крика, то падая до едва слышного шёпота, и в этом ритме чудилась какая-то чуждая, нечеловеческая математика — биение сердца самой земли.

— *Alagaz... Ur-Nem... Solvatur circulus... Per Viam Akašae... Per Nomina Eius...* — Голос Крафта то взлетал, то падал, сплетая воедино руны Старшего Футарка и формулы из «Гримуариум Верам».

Гитлер, застывший в своём кресле, не понимал ни слова. Но он чувствовал. Каждый звук отдавался в его солнечном сплетении, поднимался по позвоночнику к затылку, заставляя волосы на загривке шевелиться. В комнате, до этого неподвижной, началось едва уловимое движение воздуха, словно открылась какая-то невидимая дверь и оттуда потянуло холодом иных пространств. Пламя семи чёрных свечей, всё это время горевшее ровно и неподвижно, колыхнулось раз, затем другой. Тени на бархатных стенах ожили, поползли, искажая пропорции комнаты.

Гиммлер, застывший в своём углу, не сводил глаз с медиума. Его тонкие губы едва заметно шевелились — он повторял за Крафтом слова заклинания, но беззвучно, про себя, словно молитву. В тусклом свете его пенсне поблёскивало двумя тусклыми искрами, но глаза за стёклами были не видны. Рейхсфюрер, этот педантичный бухгалтер массовых смертей, свято верил в то, что сила не в танках и не в самолётах, а в древних ритуалах, в магии крови, в том наследии, которое предки-арийцы оставили в земле и в звёздах.

Сейчас он не просто присутствовал при опыте, он участвовал в нём всей своей фанатичной, извращённой душой. Гитлер бросил на него короткий взгляд и тут же отвернулся. Не до Гиммлера сейчас. Всё его внимание, вся его колоссальная воля, способная, казалось, двигать армии, была сосредоточена на хрупкой фигуре в кресле напротив.

Фрау Марта сидела неподвижно, откинув голову на спинку кресла. Её лицо было бледным как мел, а веки полуопущены, скрывая закатившиеся глаза. Дыхание стало частым, поверхностным, грудная клетка вздымалась и опускалась рывками, словно у загнанного зверя. Затем по телу пробежала первая судорога слабая, едва заметная, как рябь на воде от брошенного камня.

Крафт усилил голос. Теперь он не говорил — он пел, и этот монотонный напев проникал в самое нутро, в костный мозг, заставляя вибрировать всё вокруг. Хрустальный шар на столе отозвался, в его глубине вспыхнула и погасла крошечная искра. Затем ещё одна.

Тело фрау Марты внезапно выгнулось дугой. Резко, неестественно, так, что хрустнули позвонки. Её голова запрокинулась назад, открывая взору жилистую, беззащитную шею. Пальцы с такой силой вцепились в подлокотники, что ногти заскрежетали по дереву. С губ сорвался первый звук — не крик, не стон, а какой-то сдавленный хрип, словно внутри неё что-то боролось, пытаясь вырваться наружу.

Гитлер подался вперёд. Его пальцы мёртвой хваткой сомкнулись на подлокотниках кресла, костяшки побелели, ногти впились в грубую мешковину обивки. Он чувствовал, как сердце колотится где-то у самого горла, как пересохло во рту, как кровь запульсировала в висках гулко, часто, почти болезненно. Страх? Нет. Он не знал страха. Это был трепет — тот самый священный ужас, который испытывает человек, заглянувший за край реальности. Тот самый трепет, ради которого он сегодня и спустился в это подземелье.

Медиум содрогнулась всем телом. Её глаза распахнулись, и Гитлер увидел одни лишь белки, залитые красными прожилками лопнувших сосудов. Взгляд был пустым, обращённым внутрь, в такие дали, которые не измерить километрами. Рот открылся, челюсть отвисла, и из горла вырвался звук. Это был не голос фрау Марты и совсем не голос.

Хриплый, низкий, гортанный, он шёл откуда-то из глубины, из земли, из подземных вод, из тех пластов, где покоятся кости динозавров и осколки забытых цивилизаций. Он резонировал не в воздухе, а прямо в костях присутствующих, минуя барабанные перепонки. Звук этот складывался в слова, но слова чуждые, не принадлежащие ни одному из известных Гитлеру языков. Это была не немецкая речь, не латынь, не санскрит, не славянские наречия. Это было нечто более древнее. Праязык. Язык, на котором говорили до Вавилонской башни, до разделения народов, до появления самих богов.

Крафт на мгновение прервал свой речитатив. Его лицо, покрытое каплями пота, повернулось к Гитлеру. В глазах астролога горел иступлённый, фанатичный огонь — огонь человека, добившегося своего и теперь сам испуган собственной удачей.

— Это праязык, мой фюрер. Энокианский диалект. — Губы его дрогнули, и он произнёс тихо, почти благоговейно, но с той особенной, звенящей гордостью, на какую способны лишь люди, заглянувшие за завесу. — Тот самый, на котором ангелы говорили с Енохом. Мы открыли врата Акаши.

В комнате повисла мёртвая тишина, та тишина, что наступает перед самым важным событием, перед кульминацией, перед вспышкой. Никто не шевелился. Гиммлер замер, перестав даже дышать, его губы застыли на полуслове незаконченного заклинания. Крафт стоял с воздетыми руками, похожий на статую древнего жреца, обращённого в соляной столп. Гитлер, подавшись вперёд, не отрывал глаз от медиума, и взгляд его горел той самой волей, что двигала танковые дивизии и стирала с лица земли города. Он ждал.

Фрау Марта, всё ещё находящаяся в глубочайшем трансе, медленно, как заводная кукла, опустила голову. Белки глаз сменились зрачками, но зрачками, расширенными настолько, что радужка исчезла вовсе, и глаза превратились в два чёрных провала, две бездны, два окна в неведомое. Губы её зашевелились снова, и на этот раз в гортанных звуках начали проступать смутные очертания человеческой речи. Словно древний дух, вселившийся в её тело, учился говорить на языке смертных, подбирая слова из глубин коллективной памяти.

Все присутствующие затаили дыхание. В камере зеркал, под толщей земли и камня, в сердце Берлина, занесённого февральским снегом, застыли три человека — и одна женщина, чьими устами сейчас должна была заговорить сама судьба.

Пророчество было уже на подходе. Оно зрело в спёртом, пропитанном ладаном воздухе, вибрировало в пламени свечей, дрожало в хрустальном шаре, наполненном изнутри тем самым бледным, голубоватым светом. И Гитлер, чья интуиция никогда его не подводила, знал: ещё секунда и мир изменится навсегда. Ещё мгновение и он услышит слова, которые приведут его к клинку, но фрау Марта заговорила внезапно.

Это произошло без предупреждения, без перехода. Её тело, только что безвольно обмякшее в кресле, вдруг выпрямилось с неестественной, механической резкостью так, словно невидимый кукловод рванул за нити. Позвоночник хрустнул, плечи развернулись, голова поднялась, и женщина, до этого казавшаяся сломленной, угасшей, превратилась в подобие статуи застывшей, величественной и страшной. Глаза её, всё ещё закатившиеся, теперь горели изнутри тем самым голубоватым, мертвенным свечением, что пульсировало в хрустальном шаре. Губы разомкнулись, и из горла вырвался голос.

Он не принадлежал ей. Он не мог ей принадлежать. Это был низкий, гортанный, вибрирующий бас — голос существа, никогда не бывшего человеком. Он шёл не из лёгких, а откуда-то из глубин, из-под земли, из тех бездонных колодцев времени, где покоятся окаменелые останки миров, существовавших до сотворения Адама. Стены «Камеры зеркал» задрожали. Бархатные складки заколебались, хотя воздуха в помещении не было — лишь спёртый, неподвижный туман благовоний. Пламя семи чёрных свечей разом вытянулось вверх, став длинным и тонким, как лезвия ножей.

И голос произнёс на этот раз на немецком. Ломаном, искажённом, с чуждыми интонациями, словно древний дух с трудом подбирал слова смертного языка, но каждое из них падало в тишину отточенным, как приговор:

«Dort, wo die Oka den Wald umarmt, ist die Klinge verborgen, die älter ist als die Götter. Wer sie ergreift in der Stunde der blutigen Ernte, wird unberührbar für die Zeit. Doch nur, wenn sein Glaube Flamme ist und sein Wille Stahl. Der Enkel wird finden, was der Großvater verlor... und der Kreis schließt sich mit Blut.»

Слова впечатывались в мозг, минуя уши. Гитлер чувствовал, как каждое из них проживает его сознание, оставляя огненные письма. «Там, где Ока встречается лес...» — перед его внутренним взором на мгновение вспыхнула карта Восточной Европы, и извилистая голубая жила реки зазмеилась среди тёмно-зелёных массивов. «...клинок, что старше богов...» — он увидел меч.

Не смутный образ из легенд, а реальный, физически осязаемый предмет. Клинок, сияющий во тьме голубым пламенем, тот самый, что являлся ему в снах последние недели. «...неподвластен времени...» — сердце пропустило удар. Бессмертие? Неуязвимость? То, о чём он молился в окопах под Ипром, то, что обещали ему все мифы о священном Граале и Копье Лонгина? «...вера его — пламя, а воля — сталь...» — это о нём. Конечно, о нём. Кому ещё, как не ему, обладать такой верой и такой волей? «...внук найдёт то, что потерял дед...» — эта фраза на мгновение сбита с толку, показалась лишней, чужеродной, но разум, опьянённый откровением, отбросил её в сторону. После. Всё это он обдумает после. «...и круг замкнётся кровью».

Последнее слово упало в тишину, как камень в бездонный колодец. И в тот же миг всё кончилось. Фрау Марта издала короткий, захлёбывающийся вдох — звук, похожий на предсмертный хрип, — и рухнула вперёд, ударившись лицом о столешницу. Хрустальный шар покачнулся, но устоял. Свечи погасли все разом, как по команде, не задутые ветром, а именно погашенные, словно кто-то накрыл их невидимым колпаком. В один удар сердца мир погрузился в абсолютную, кремешную черноту.

Это была Тьма с большой буквы — та, что царила до сотворения света, до разделения неба и тверди, до появления первой звезды. Она давила на глазные яблоки, забивалась в уши, проникала в лёгкие, мешая дышать. В этой тьме исчезло всё: стены, потолок, стол, Гиммлер, Крафт. Не было ни верха, ни низа, ни пространства, ни времени. Был только он, Адольф Гитлер, и его сердце — единственный звук во всей вселенной. Оно колотилось где-то у самого горла, гулко, часто, почти болезненно. Он слышал его так отчётливо, словно прижал ухо к собственной грудной клетке. Бум. Бум. Бум. Живой. Он был ещё жив, а тьма — жива, и она обнимала его, заглядывала в самую душу, и в этом объятии не было ни тепла, ни угрозы — лишь безмерная, космическая отстранённость.

Он не мог пошевелиться. Пальцы всё ещё впивались в подлокотники кресла, но тело, казалось, утратило вес, связь с реальностью, с гравитацией. Он парил в этой тьме, как зародыш в материнской утробе, и древние слова пророчества всё ещё звучали в его голове, многократно отражённые эхом, наслаиваясь друг на друга, сплетаясь в единую пульсирующую мантру. Клинок, что старше богов... старше богов... старше богов...

Вечность спустя — или, может быть, прошла лишь секунда — тишину разорвал металлический щелчок. Гиммлер включил карманный фонарь.

Узкий, резкий луч прорезал тьму, как скальпель, и упёрся прямо в лицо Гитлера. Фюрер зажмурился, инстинктивно вскинув руку, чтобы защитить глаза. Когда он отвёл ладонь, Гиммлер всё ещё держал фонарь, но рейхсфюрер явно не решался ни опустить его, ни отвести в сторону. Ему нужно было увидеть. И он увидел.

Лицо Гитлера, выхваченное из мрака безжалостным электрическим светом, представляло собой картину, которую Гиммлер не забудет до конца своих дней. Оно было мертвенно-бледным, как у трупа, пролежавшего в ледяной воде. Под глазами залегли глубокие,

почти чёрные тени. На лбу блестели капли холодного пота. Но самое поразительное, самое жуткое было в выражении. Это не был страх в привычном, человеческом понимании. Это был священный ужас — тот самый, что заставлял Моисея снимать сандалии перед неопалимой купиной, а древних пророков падать ниц перед ангелами. И одновременно с этим восторг. Исступлённый, экстатический, почти чувственный восторг человека, долго блуждающего в пустыне и наконец увидевшего на горизонте очертания Земли Обетованной.

Губы фюрера беззвучно шевелились. Гиммлер, затаив дыхание, подался вперёд и разобрал едва слышный, срывающийся шёпот:

— Старше богов... Моя вера — пламя... Моя воля — сталь...

Он повторял эти слова как молитву, как заклинание, как клятву верности самому себе. Глаза его, всё ещё расширенные, смотрели сквозь Гиммлера, сквозь стены, сквозь толщу земли — туда, на восток, где извилистая Ока обнимала вековые муромские леса. Он видел меч. Он почти держал его в руках.

Крафт тем временем, не теряя ни секунды, лихорадочно записывал каждое слово пророчества. В слабом, дрожащем луче Гиммлеровского фонаря он склонился над столом, отодвинув в сторону безжизненное тело фрау Марты, и его перо скрипело по бумаге с какой-то испуганной, почти истерической скоростью. Он боялся забыть хоть один слог. Он знал: эти слова — ключ к судьбе рейха, к его собственной карьере, к разгадке тайны, над которой он бился годами. «Там, где Ока встречается лес... клинок, что старше богов...» — он шептал их, записывая, и снова шептал, словно пробуя на вкус, проверяя, нет ли ошибки в переводе, в интерпретации. «Внук найдёт то, что потерял дед...» — эту фразу он подчеркнул дважды, интуитивно чувствуя, что она таит в себе ещё один, скрытый смысл. Но расшифровывать его сейчас не было времени. Сейчас нужно было зафиксировать, запечатлеть, сохранить.

Гиммлер перевёл луч фонаря на медиума. Фрау Марта лежала грудью на столе, лицом вниз, и её спутанные седые волосы рассыпались по морёному дубу, смешавшись с астрологическими таблицами. Она была без сознания — или мёртвой? Рейхсфюрер протянул руку в чёрной перчатке и грубо, без тени заботы, повернул её голову. Из полуоткрытого рта вытекла тонкая струйка слюны, смешанной с тёмной жидкостью. Но зрачки, хотя и расширенные до предела, реагировали на свет — сузились. Жива. И, возможно, ещё пригодится.

— Она исчерпана, — произнёс Крафт, не отрываясь от своих записей. Голос его звучал глухо, буднично, как у врача, констатирующего смерть пациента. — Для неё это всегда шок. Организм не выдерживает напряжения. Ей нужен покой, рейхсфюрер. По крайней мере, до следующего раза. Гиммлер кивнул и выключил фонарь.

Тьма вернулась, но теперь она была другой. Не той священной, первозданной тьмой откровения, а просто отсутствием света. Где-то в глубине здания загудели генераторы, и под потолком камеры слабо замерцали газовые рожки, медленно разгораясь. Комната начала проявляться из мрака — сначала смутными очертаниями, затем всё более чёткими деталями. Стол. Кресла. Бархатные стены. Хрустальный шар, теперь мутный и пустой, без единой искры. Тело женщины, всё ещё безжизненно распростёртое на столе. И трое мужчин.

Гитлер медленно поднялся с кресла. Движения его были странными, механическими, как у человека, только что пробудившегося от глубокого гипноза. Он шагнул к столу, взял в руки лист бумаги, на котором Крафт только что записал пророчество, и поднёс его к глазам. Его губы снова зашевелились, беззвучно перечитывая слова, которые он уже знал наизусть.

— Ока, — произнёс он наконец, и голос его, хриплый, срывающийся, постепенно обретал привычную твёрдость. — Рязань. Муром. Это в междуречье. В зоне действия группы армий «Центр».

— Именно так, мой фюрер, — отозвался Крафт, нервно вытирая платком вспотевший лоб. — Эксперты уже работают над расшифровкой географических указаний. Но уже сейчас ясно: клинок сокрыт где-то в лесах вдоль Оки.

— Мы найдём его, — перебил Гитлер. Теперь это был снова он — тот Гитлер, которого знали все. Голос звенел металлом. — Мы найдём его, чего бы это ни стоило. Фон Бок получит приказ. Экспедиция отправится немедленно. Вы лично, Зиверс, — он осёкся, вспомнив, что Зиверса здесь нет, и перевёл взгляд на Гиммлера, — вы лично проследите за подготовкой. «Аненербе» берёт операцию под свой контроль. Это не археология, Генрих. Это судьба.

— Так точно, мой фюрер, — отчеканил Гиммлер, вытягиваясь в струнку.

Гитлер бросил последний взгляд на фрау Марту. Она так и лежала на столе, неподвижная, как сломанная кукла. В тусклом свете её седые волосы казались пеплом, а лицо — гипсовой маской. Она выполнила свою функцию. Инструмент можно было убрать.

Фюрер резко развернулся на каблуках и направился к выходу. Его шаги твёрдые, чеканные, совсем не такие, как при спуске, гулко отдавались под каменными сводами. Плащ взметнулся за спиной чёрным крылом. Гиммлер и Крафт поспешили следом, оставив медиума в «Камере зеркал» одну — лежащую без сознания на столе, в окружении погасших свечей и остывающего ладана. Сеанс был окончен и охота началась.

Глава 2. Тайна рязанского монастыря

Современная Россия. г. Москва.

Последние полгода для Дмитрия Родинова выдались, пожалуй, самыми суматошными и вместе с тем самыми значительными за всю его карьеру в фонде исторического наследия. Ещё зимой, когда снег заметал Оренбургские степи, в фонд доставили необычный груз — фрагменты колоссальной металлической конструкции, обнаруженной случайно при прокладке газопровода в одном из отдалённых районов области.

Местные рабочие, наткнувшись на сплетение бронзовых балок и странных шестерён, поначалу приняли находку за довоенный трактор, но прибывшие специалисты быстро поняли: перед ними нечто совершенно иное. Перед ними был исполин — механический конь, созданный, судя по первым анализам, мастерами Монгольской империи эпохи Угэдэй-хана.

Родинов, как ведущий эксперт фонда по азиатским древностям, с головой ушёл в проект. Работа у него в команде с прикомандированным конструктором из НИИ точной механики и двумя восторженными, но поначалу отчаянно неуклюжими стажёрами, заняла долгих четыре месяца. Конь, собранный из сотен деталей, оказался не просто гигантской статуей. Исполнин оказался сложнейшим аниматронным устройством, приводившимся в движение системой гири, пружин и, вероятно, водяных колёс.

Три его головы — символ власти над миром живых, мёртвых и духов — венчали массивную шею, а внутри каждой находились хитроумные механизмы, позволявшие головам двигаться независимо друг от друга и даже извергать пламя с помощью какого-то примитивного, но гениального химического состава.

Алла Танаева, забежавшая в просторный ангар, превращённый во временную мастерскую, всякий раз замирала в искреннем восхищении. Она, палеограф, привыкшая к тишине библиотек и хрупкости пергаментов, смотрела на грудю оживающего металла, как на подлинное чудо. «Дима, — говорила она, прижимая руки к груди, — это же Угэдэй-хан собственной персоной! Ты представляешь, какой фурор это вызовет? Вы не просто реставрируете артефакт, вы воскрешаете легенду, спавшую в земле семьсот лет!» И она была права.

Около месяца назад, в Геленджике, на закрытой конференции, посвящённой новым технологиям в археологии, состоялась презентация «Исполинского коня Угэдэй-хана». Дмитрий лично запустил главный механизм, и три бронзовые головы, сверкая начищенными до блеска глазами из обсидиана, медленно повернулись к зрителям, а из центральной пасти вырвался беззвучный, но осязаемый выброс горячего воздуха.

Зал взорвался аплодисментами. В тот же вечер новость о реконструкции разлетелась по всем околонуучным кругам, вызывая как восторг, так и жгучую зависть. Фотография Дмитрия, стоящего на фоне коня, попала в ленты крупнейших новостных агентств. Именно тогда в дело и вмешался тот самый безумный министр, охотившийся за головами коня, полагая, что в них скрыт секрет абсолютной власти. Геленджик обернулся не только триумфом, но и серьёзной опасностью, из которой Дмитрию и его коллегам чудом удалось выйти без потерь.

И теперь, когда вся эта эпопея осталась позади, а конь занял своё место в главном выставочном зале фонда, Дмитрий ощущал странную пустоту. Адреналин отгремел, сенсация улеглась, и жизнь, казалось, должна была войти в привычную колею. Но не вошла.

Он неспешно шёл по длинному, слабо освещённому коридору фонда исторического наследия, и его шаги, приглушённые толстым серым ковром, казались ему какими-то особенно осторожными, почти крадущимися, словно он, Дмитрий Иванович, историк, майор запаса, человек, повидавший и не такое, боялся потревожить тишину этого полного древних тайн святилища науки. Воспоминания о монгольском коне ещё кружились в голове, но теперь к ним

примешивалось предчувствие чего-то нового, может быть, даже более важного, чем механический великан.

Он остановился у массивной дубовой двери с бронзовой табличкой, на которой было выбито: «А. В. Танаева, лаборатория палеографии и эпиграфики», и, негромко постучав, нажал на тяжёлую холодную ручку. Дверь, подчиняясь его усилию, бесшумно открылась, словно только и ждала его.

Лаборатория Аллы Танаевой оказалась небольшой, но очень уютной комнатой, заставленной стеллажами с книгами, коробками, папками и какими-то явно древними предметами, покрытыми тканью или лежащими в специальных пластиковых боксах. В воздухе, тёплом и неподвижном, пахло старым деревом, кожей, пылью веков и чем-то ещё неуловимым, почти мистическим — тем самым особым запахом подлинной истории, который, как известно, не спутаешь ни с каким другим искусственным ароматом.

Алла сидела за своим рабочим столом, склонившись над каким-то документом. Подняв голову и увидев Дмитрия, она приветливо, но с какой-то едва заметной озабоченностью улыбнулась, встала и, жестом приглашая его к длинному лабораторному столу у окна, сказала:

— Спасибо, что пришёл, Дима. Я понимаю, у тебя сейчас после Геленджика забот полон рот, но мне нужен твой свежий взгляд, твоя интуиция, твоё профессиональное чутьё. Ты вон как лихо оживил трёхголового коня, может, и с моей головной болью поможешь.

Дмитрий усмехнулся, польщённый похвалой, но виду не подал. Он подошёл к столу и увидел, что на нём, на специальной мягкой подложке, покоится какой-то свёрток, завернутый в грубую серую мешковину и перевязанный крест-накрест такими же верёвками. Его сердце — глупое, нетерпеливое, вечно жаждущее открытий — забилося чаще, и он спросил:

— Что это? Очередная твоя сенсационная находка, о которой я ещё ничего не слышал? Или тот самый таинственный артефакт, по слухам, способный если не перевернуть, то хотя бы серьёзно поколебать устои нашей традиционной исторической науки?

— Ни много ни мало, — усмехнулась Алла, подходя к столу и, жестом фокусника готовясь представить главный номер своей программы, начала медленно развязывать узлы на верёвках. — Древнерусская летопись двенадцатого века. Найдена нашей экспедицией в прошлом году в развалинах одного забытого Богом и людьми монастыря на берегу небольшой речушки в глухой рязанской области. Пролежала в земле почти тысячу лет и сохранилась чудом, буквально чудом.

Она сняла мешковину, и Дмитрий увидел под ней ещё один слой защиты — старую, потрескавшуюся, высохшую, почти превратившуюся в труху кожу. Алла осторожно, бережно, словно боясь потревожить покой древнего мёртвого животного, отвернула её в сторону, открыв взору наконец саму книгу — рукописную, в кожаном переплёте, с массивными медными застёжками.

— Можешь посмотреть, — сказала она, протягивая Дмитрию пару белых хлопчатобумажных перчаток. — Прошу соблюдать осторожность. Книга очень старая, очень хрупкая, и каждый наш неосторожный вздох может навсегда уничтожить то, что ещё можно прочитать.

Дмитрий с благоговением, почти с религиозным трепетом надел перчатки, чувствуя, как его пальцы погружаются в мягкую ворсистую ткань, и осторожно, как хирург перед сложнейшей операцией, раскрыл книгу. Он перелистнул несколько первых страниц, исписанных мелким убористым каллиграфическим почерком, с буквицами, с вязью, с полями, испещрёнными комментариями и пометками.

— Удивительно, — прошептал он, не скрывая своего восхищения, своего восторга, своей почти детской радости от соприкосновения с живой историей. — Просто удивительно. Как она сохранилась? Как вы её нашли? Каким чудом она не сгнила, не рассыпалась в прах в этой сырой земле за сотни и тысячи лет?

— Терпение, Дима, — усмехнулась Алла, садясь напротив и с какой-то грустной, даже печальной улыбкой глядя на книгу. — Это уже загадки не моей компетенции. Я палеограф, а не реставратор. Моя задача — прочитать, расшифровать, понять то, что написано на этих страницах. А они, как ты сам видишь, написаны далеко не идеально. Многие фрагменты утрачены, стёрты, выцвели, повреждены влагой, насекомыми, временем. И я иногда просто в отчаянии опускаю руки, понимая, что никогда не смогу восстановить этот текст до конца.

— Что именно тебя так беспокоит? — спросил Дмитрий, поднимая глаза от страниц и глядя на Аллу. — Какие-то конкретные места вызывают особые затруднения? Или вся книга сплошная головная боль?

— Вот посмотри сюда, — Алла встала, подошла к Дмитрию, и её палец в резиновой перчатке указал на один из разворотов книги. — Здесь очень важный фрагмент. Я почти уверена, что речь идёт о каких-то древних артефактах, о каких-то тайных сокровищах, но разобрать больше нескольких слов мне не удаётся. Текст слишком сильно повреждён. Я даже думала, что это какой-то шифр, но скорее — просто время.

Она вздохнула, и её лицо, озабоченное, уставшее, почти болезненное, вдруг просветлело, и она добавила с надеждой:

— Я передам тебе сегодня все свои наработки, все результаты дешифровки, все фотографии, все сканы. Может быть, у тебя получится то, что не получилось у меня. Вдруг твоя интуиция, твоя научная смелость, твоё нестандартное мышление подскажут что-то, чего не вижу я. Ты же смог оживить мёртвый металл, неужели не сможешь оживить мёртвые буквы?

— Хорошо, — кивнул Дмитрий, закрывая книгу и снимая перчатки. — Я попробую. Не обещаю чуда, но попробую.

— У меня есть ещё один артефакт, — сказала Алла, и её голос вдруг стал таинственным, почти заговорщицким, — который сейчас исследуют на томографе в подвале. Я должна спуститься к ним, помочь с интерпретацией. Ты не будешь возражать, если я оставлю тебя одного ненадолго?

— Конечно нет, — ответил Дмитрий, и Алла быстро, почти бегом, выбежала из лаборатории, оставив его одного с книгой и её тайнами.

Родинов, оставшись один, снова подошёл к столу, надел перчатки и открыл книгу на том самом месте, указанном Аллой. Он взял увеличительное стекло, лежавшее на столе, и стал рассматривать повреждённый фрагмент, пытаясь разобрать хотя бы одно слово, хотя бы одну букву, хотя бы один намёк на смысл.

Он водил лупой по странице, и вдруг его взгляд замер, остановился, прилип к одному месту, где сквозь грязь и потёртости проступило едва различимое буквосочетание. Он приоткрыл рот, и его сердце ёкнуло, замерло, остановилось, а затем забило с новой, необычайной силой.

«Монастырь... Рождества... Богородицы... что на Оке... близ града Рязани... хранятся списки с древних хартий...» — прочитал он по слогам, и его глаза расширились от удивления, от изумления, от почти мистического восторга. В голове пронеслась лихорадочная мысль: «Неужели след? Неужели тот самый монастырь, о котором я думал?»

Он отложил лупу, подошёл к компьютеру, стоявшему на столе, и быстро войдя в систему фонда, открыл базу данных по древним топонимам. Он ввёл в поисковую строку название монастыря, и система, подумав недолго, выдала результат: монастырь Рождества Богородицы что на Оке находился в пятнадцати километрах от современной Рязани, в селе Вышгородское, на высоком берегу реки.

Дмитрий сопоставил эти данные с современными топографическими картами и понял, что место это глухое, забытое, почти необитаемое, и добраться туда можно только на вездеходе или на лошадах. Он машинально отметил координаты в блокноте, чувствуя, как внутри него закипает знакомая охотничья жилка.

В этот момент в лабораторию вернулась Алла. Её лицо было озабоченным, встревоженным, даже несколько растерянным, и она сказала с извиняющимся тоном:

— Дима, мне очень жаль, но я вынуждена тебя покинуть. Меня срочно вызывают на другое исследование, там возникли какие-то проблемы. Я оставлю тебе все материалы на флешке и надеюсь, что ты сможешь что-то сделать.

Дмитрий не стал посвящать Аллу в свои догадки — не потому, что не доверял ей, а потому, что не был уверен в своей правоте и не хотел обнадеживать её напрасными надеждами. Он молча кивнул, взял протянутую флешку, переписал на неё электронную версию дешифровки летописи и, достав из кармана маленький блокнот, переписал на один из его листочков результат своей работы — координаты местонахождения монастыря и то, что он надеялся там найти.

— Спасибо, Алла, — сказал он, прощаясь, — ты мне очень помогла. Я думаю, что информация, полученная сегодня, может оказаться очень ценной. И не только для науки.

Он вышел из лаборатории, но вместо того, чтобы направиться к лифту и сразу покинуть здание, свернул в боковой пролёт лестницы, ведущей в его собственный кабинет двумя этажами ниже. Лифт он не любил — в этих старых стенах фонда царила своя особая акустика, и Дмитрию казалось, что в тишине лестничных маршей ему лучше думается. Шаги гулко отдавались в пустом бетонном колодце, и каждый звук будто подталкивал его мысли к новому витку.

В кабинете он не стал включать верхний свет, только настольная лампа, которую он по привычке включил, едва войдя, осветила лишь край стола. Дмитрий опустил в массивное кожаное кресло и несколько минут сидел неподвижно, глядя на тёмный, ещё не включённый экран компьютера. На чёрном глянцевом прямоугольнике, как на экране кинопроектора, перед его мысленным взором прокручивались картины последних часов.

Древняя летопись... Таинственный монастырь под Рязанью... Рязань — и снова, словно по чьей-то невидимой указке, всплывает Восток, только теперь не монгольский, а русский, лесной, былинный. Что-то неведомое, смутное, ускользающее маячило на границе сознания, какая-то деталь, которую он пока не мог ухватить. Внезапно из глубины памяти выплыла полузабытая история. Он вспомнил о столкновении в Египте с представителями тайной программы, зародившейся когда-то в недрах Аненербе.

Программа носила кодовое название «Вечность» и была направлена на поиск древней силы, дарующей бессмертие. В тот не забытый год безумцев удалось остановить. Дмитрий сам в прошлом году столкнулся с отголосками этой программы — группой энтузиастов, а вернее, фанатиков, пытавшихся возродить оккультные практики Третьего рейха. Тогда удалось их остановить, но следы «Вечности» нет-нет да и всплывали в самых неожиданных местах.

Теперь Родинов сидел и вспоминал лица тех бывших противников, их горящие безумием глаза, их уверенность в том, что древние артефакты способны даровать нечеловеческую власть. И отчего-то именно сейчас, после находки летописи, эти воспоминания нахлынули с новой силой. Он смотрел на потухший экран и почти физически ощущал, как сходятся нити прошлого способные ввергнуть его в новую пучину тайн прошлого. Историю про монгольского коня Угэдэй-хана, чудом восстановленного из обломков, безумного министра, охотившегося за его головами, можно назвать завершённой.

Теперь — летопись с упоминанием какого-то артефакта, спрятанного в рязанском монастыре. Неужели всё это звенья одной цепи? И не таится ли за этим снова призрак «Аненербе»? Вопросы множились, ответов не было. Но Дмитрий уже знал: эта монастырская загадка не отпустит его, пока он не докопается до истины. Он включил компьютер и принялся за расшифровку материалов, оставленных Аллой.

Решение созрело внезапно, словно кто-то невидимый прошептал его на ухо посреди бессонной ночи. Всю долгую апрельскую ночь Дмитрий проворочался без сна, прокручивая в голове обрывки летописи, монастырские координаты и смутные тени прошлого, что тянулись

за ним ещё со времён столкновения с программой «Вечность». Он то забывался тревожной дремой, то вновь распахивал глаза, всматриваясь в потолок.

Уличный фонарь рисовал дрожащие узоры ветвей. Под утро, когда небо за окном начало наливаться серым предрассветным молоком, он поднялся с постели с твёрдой, как сталь, уверенностью: он должен увидеть это место своими глазами. Не завтра, не через неделю — сегодня.

Елена, его жена, завтракала на кухне, когда он вошёл с дорожной сумкой в руке. В кухне плавал густой аромат свежесваренного кофе, и в этом уютном, обжитом пространстве, среди глиняных горшочков с геранью на подоконнике и солнечных зайчиков, дрожащих на вышитой скатерти, его суетливые сборы выглядели почти вызывающе. Она подняла бровь, отставила чашку с кофе и, не говоря ни слова, посмотрела на него тем самым внимательным, всё понимающим взглядом, который Дмитрий одновременно любил и побаивался — взглядом, проникающим глубже любых слов.

— В Рязань, — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал буднично, словно речь шла о рутинной командировке в соседний архив. — Точнее, в одно местечко под Рязанью. Там когда-то село Вышгородское было, а теперь, судя по картам, одни дачи да одичавшие сады. Я на день, от силы — на два.

— И что тебя туда гонит, Дима? — спросила Елена, и в её тоне не было упрёка, лишь тихая тревога, та самая, что поселилась в ней после Геленджика. — После всего, что случилось, ты ведь говорил, что хочешь взять паузу, отдохнуть, прийти в себя.

Дмитрий опустил на стул рядом с ней, взял её ладонь в свою, ощутил тепло и шероховатость её кожи, такую знакомую, родную. За окном запела какая-то ранняя птица, и этот простой, чистый звук вдруг придал ему решимости.

— Ты знаешь, я не мистик, Лена. Я историк. Я привык доверять фактам, документам, артефактам. Но сейчас... — он запнулся, подбирая нужное выражение, и поймал себя на том, что гладит её пальцы, словно это могло передать то, что не умещалось в слова. — Сейчас меня словно что-то толкает. Какое-то чутьё, понимаешь? Предчувствие чего-то важного, полного исторических загадок. Вчера я держал в руках летопись, которую невозможно расшифровать до конца, но там, среди стёртых строк, я прочёл название монастыря. И оно совпало с тем, что я искал раньше, ещё до всех этих монгольских коней. Это как пазл, начавший складываться без моего участия. Я должен поехать, хотя бы на день, просто чтобы увидеть место, вдохнуть его воздух.

Елена долго смотрела на него, потом вздохнула, и её плечи чуть опустились, отпуская напряжение. Она улыбнулась — той самой улыбкой, означавшей, что она ему верит, даже если не до конца понимает, и что будет ждать, сколько бы ни потребовалось.

— Только обещай, что не полезешь один в какие-нибудь подземелья, — сказала она, и в голосе её проскользнула мягкая ирония, чтобы замаскировать настоящий страх. — И позвони, как доберёшься. И когда поедешь обратно — тоже позвони. Я хочу знать, что с тобой всё в порядке.

Дмитрий поцеловал её в висок, ощутив запах её волос — смесь шампуня и чего-то неуловимо домашнего, и вышел из дома, аккуратно притворив за собой дверь. Свою надёжную Тойоту он вёл сам, предпочитая одиночество дороги любой компании. Ему всегда лучше думалось в пути, когда мир за окном превращался в смазанную череду полей, перелесков и деревенок, а мысли, наконец, обретали стройность и ясность. Он вырулил с подземной парковки, вдохнул сырой утренний воздух, пахнувший бензином и мокрым асфальтом, и влился в поток машин, покидающих Москву.

Трасса М5 встретила его серым небом, низко нависшим над горизонтом, и мелкой, почти невесомой моросью, от которой дворники размазывали по стеклу мутные разводы. Но чем дальше он уезжал от столицы, тем светлее и прозрачнее становился воздух. Уже за Коломной

тучи начали расступаться, и в разрывах облаков показалась робкая, словно ещё не до конца проснувшаяся после зимы, лазурь.

Дмитрий опустил боковое стекло на несколько сантиметров, и в салон ворвался густой, влажный запах пробуждающейся земли — запах прелых прошлогодних листьев, набухающих почек и далёкого речного тумана. Весна набирала силу, и это чувствовалось во всём.

Он въехал в Рязань около полудня, когда солнце, наконец, прорвало последние облака и залило город тёплым, золотистым светом. Дмитрий невольно сбавил скорость, разглядывая проплывающие за окном рязанские пейзажи. Кремлёвский холм с его соборами — Успенским, Архангельским, Христорождественским — на мгновение показался над крышами, и золотые купола вспыхнули под солнцем так ярко, что пришлось прищуриться. Он проезжал по узким улочкам, где ещё сохранились старые купеческие дома с резными наличниками, окрашенными в голубой и белый цвета; деревянные ставни кое-где были приоткрыты, выставляя на обозрение горшки с геранью. В воздухе плыл смешанный аромат свежей выпечки из булочной, машинного масла от автосервиса и едва уловимый, сладковатый запах цветущих где-то яблонь.

На перекрёстке старушка торговала вязаными носками и пучками первой зелени; Дмитрий притормозил, пропуская её, и заметил, как ветер колышет седые пряди, выбившиеся из-под платка. Всё здесь дышало той самой провинциальной, немного сонной, но подлинной Русью, которую он так ценил и любил находить в своих экспедициях.

За городом пейзаж быстро переменялся. Дорога сузилась, асфальт сменился бетонными плитами, а затем и вовсе укатанной грунтовкой, по которой машина пошла мягко, чуть пружиня, оставляя за собой шлейф лёгкой пыли. Началась сельская местность. Дмитрий сверился с картой: он приближался к Оке. Справа и слева потянулись бескрайние поля, покрытые нежной, ещё невысокой зеленью озимых.

Ветер гнал по ним длинные серебристые волны и, казалось, что сама земля дышит, поднимаясь и опускаясь в этом ритме. Кое-где на обочинах желтели одуванчики, а в глубоких кюветах стояла талая вода, отражающая высокое, по-весеннему прозрачное небо с редкими перистыми облаками.

Из бардачка он достал планшет, включил геолокацию и выбрал направление вдоль реки, высматривая ориентиры, заранее намеченные по спутниковым снимкам. Дорога вилась мимо деревни с поэтичным названием Кораблино — наполовину заброшенной, наполовину возрождённой дачниками. Покосившиеся избы с заколоченными окнами и провалившимися крышами, увитые диким хмелем, соседствовали с яркими, словно игрушечными, домиками, обшитыми сайдингом, с аккуратными заборчиками и детскими качелями.

Контраст был настолько резким, что Дмитрий невольно усмехнулся: история здесь умирала и возрождалась одновременно, хотя возрождалась в каком-то новом, чужеродном облике. За деревьями блеснула стальная гладь Оки, и сердце его забило чаще.

По его оценкам, до цели оставалось ещё порядка десяти-двенадцати километров. Впереди открылись поля, сменявшиеся лугами, подступавшими почти к самой воде. На высоком берегу реки, там, где Ока делала плавный, величественный изгиб, показались какие-то развалины. Каменные остовы стен, полуобвалившаяся колокольня без купола.

Рядом заросли бузины и молодой берёзовой поросли, пробивающейся сквозь щели древней кладки. Дмитрий остановил машину, вышел наружу и долго всматривался в руины, шурясь от яркого солнца. Ветер трепал его волосы, принося с реки запах воды и тины. Птицы заливались на все лады, и где-то вдалеке куковала кукушка — тихо, размеренно, словно отсчитывая время.

Но что-то не сходилось. Согласно карте, монастырь Рождества Богородицы должен был находиться на другом, более низком берегу, там, где река разливалась широко, образуя заливные луга. Дмитрий вернулся в автомобиль, увеличил масштаб на планшете и понял свою ошибку: за развалины он принял остатки какой-то старинной усадьбы или, возможно, церкви,

стоявшей на высоком мысу. Мост через Оку находился южнее, километрах в пяти, и ему пришлось развернуться и сделать крюк, возвращаясь по разбитой дороге обратно к трассе.

Он уже съезжал с просёлочной колеи, когда заметил на обочине одинокую фигуру. Мужчина в чёрной рясе, подпоясанный широким кожаным поясом, стоял у старого, покосившегося указателя и поднял руку в спокойном, почти благословляющем жесте. Чёрный монашеский клобук обрамлял его лицо, из-под него выбивались пряди начинающих седесть волос. Борода, тоже чёрная с серебряными нитями, была аккуратно подстрижена, а взгляд тёмных глаз — ясный, внимательный, пронизательный, но без назойливости. Дмитрий притормозил и опустил стекло. В салон ворвался свежий ветер с реки.

— Простите великодушно, — произнёс священнослужитель мягким, хорошо поставленным голосом, выдававшим в нём человека образованного. — Не подбросите ли меня до Вознесенского монастыря? Тут всего-то пара вёрст, а моя старенькая «Нива», как назло, заглохла, и я, признаться, уже отчаялся кого-нибудь встретить на этой дороге.

— Садитесь, — кивнул Дмитрий, и монах, поблагодарив лёгким поклоном, устроился на пассажирском сиденье с той естественной непринуждённостью свойственной людям, привыкшим к долгим пешим переходам и простым условиям.

Поначалу они ехали молча, и в этом молчании не было неловкости, а было, напротив, какое-то молитвенное спокойствие. За окнами проплывали заливные луга, с желтевшими первыми лютиками, и старые ветлы, склонившиеся к самой воде, словно старухи, полошущие свои ветви в реке. Вскоре, однако, завязался разговор — сперва ни к чему не обязывающий, о погоде, о весне, о том, как Ока разлилась в этом году.

Монах представился отцом Сергием, насельником Вознесенского монастыря. Дмитрий, в свою очередь, не скрывая, рассказал, что он учёный-историк из Москвы и что привело его сюда не праздное любопытство, а чутьё исследователя, наткнувшегося на обрывочные сведения о каком-то древнем монастыре, возможно, Рождество-Богородицком. Он упомянул, что видел на высоком берегу развалины и принял их за искомое место.

— Это, сын мой, остатки усадьбы князей Гагариных. Красивое было место, да и оно погибло. — Отец Сергей грустно усмехнулся, проведя ладонью по бороде. — А вы, стало быть, искали монастырь Рождества Богородицы? — Дмитрий вздрогнул, услышав точное название. — Увы, от него тоже почти ничего не осталось. Построен был ещё в десятом веке, пережил и набеги, и пожары, и смуты, а погиб уже в советское лихолетье. Взрывали, разбирали по кирпичику, растаскивали ризницу. Сокровища разворованы, священные книги и летописи утрачены безвозвратно. Лишь кое-что чудом сохранилось в библиотеке нашего Вознесенского монастыря, куда я сейчас направляюсь. Мы, по крупицам, собираем то, что удалось спасти — старые рукописи, иконы, утварь. Это тяжёлый, кропотливый труд, но кто-то должен его делать.

Дмитрий почувствовал одновременно и разочарование, и странное облегчение. Значит, не всё потеряно. Значит, ниточка тянется дальше.

— Понимаете, отче, — заговорил он осторожно, сам удивляясь той откровенности, с какой обращался к малознакомому монаху, — я вчера с увлечением читал восстановленные страницы одной летописи. Той самой, возможно, что чудом уцелела и попала в руки наших палеографов. И чутьё учёного — назовём это так — привело меня сюда. Какая-то тайна... я её не вижу, но я её чувствую. Она здесь, в этих лугах, в излучине реки, в развалинах. Она ждёт, чтобы её открыли.

Отец Сергей повернулся к нему и долго, испытующе смотрел. В его глазах читалась работа мысли — он словно взвешивал что-то на невидимых весах. Потом он улыбнулся — не дежурной улыбкой священника, а какой-то особой, тёплой и печальной, словно он только что принял важное и нелёгкое решение.

— Чутьё, говорите... — он помедлил, перебирая чётки. — Что ж, есть одна тайна. Затеянная в веках, но не забытая до конца. Вы, как историк, слышали что-нибудь о мече Агрика?

Родинов отрицательно покачал головой. Название было ему совершенно незнакомо, но отчего-то отозвалось внутри глухим, тревожным эхом.

— Агриков меч, — повторил монах, и голос его зазвучал тише, почти заговорщицки, — в былинах и древних сказаниях упоминается как меч-кладенец. Говорят, он сияет во тьме голубым светом, видимым даже сквозь камень, и даёт владельцу силу нечеловеческую — силу, которая не от мира сего.

В груди у Дмитрия что-то дрогнуло, затрепетало — то самое предчувствие, которое привело его в Рязань, забилося с новой, небывалой силой. Вот она, древняя тайна, облечённая в слова. Он слушал, затаив дыхание, а машина всё катилась по неровной дороге, и ветер шевелил страницы старого требника, лежавшего на коленях у монаха.

— Легенд с этим мечом связано множество. В одних сказаниях он принадлежал библейскому царю-исполину Агрику, и ковали его подземные мастера в огне, который никогда не гаснет. — Отец Сергей, заметив его реакцию, продолжил сдержаннее. — В других им владел богатырь Суруец, побеждавший целые рати. По муромским преданиям, князь Пётр, тот самый, что с Февронией, сразил Агриковым мечом змея, прилетавшего пожирать людей. А есть и совсем глухие упоминания о том, что меч этот не оружие даже, а ключ, открывающий врата в иные миры. Но если говорить о конкретике, а не сказаниях... — он замолчал на полминуты, собираясь с мыслями, и мерный стук колёс заполнил паузу. — В многократно переписанных хрониках нашего монастыря я прочитал про князя Боголюбского. Тот сражался под знамёнами крестоносцев и получил в дар меч, обнаруженный храмовниками на месте разрушенного храма Соломона в Иерусалиме. Тот самый меч, который рыцари Храма сочли библейским мечом Агрика — оружием, способным решать судьбы народов. По преданиям, упомянутым в летописи, что я читал, меч какое-то время хранился в исходном монастыре — в Рождество-Богородицком, что на Оке, близ града Рязани.

За разговорами они не заметили, как дорога упёрлась в массивные деревянные ворота с коваными петлями. Вознесенский монастырь стоял на невысоком холме, обнесённый белой каменной стеной, из-за которой выглядывали купола небольшого храма и крыши братских корпусов. Дмитрий остановил машину и, прежде чем проститься, спросил с надеждой, заглядывая монаху в глаза:

— Мне позволят познакомиться с этими записями? С теми, где упоминается меч? Я понимаю, что прошу многого, но для меня это может стать ключом к целому пласту утраченной истории.

Отец Сергей тяжело вздохнул, и по его лицу пробежала тень. Он смотрел на ворота монастыря так, словно видел за ними невидимую преграду.

— Настоятель будет категорически против, сын мой. Даже далеко не все братья получают доступ в крипту, где хранятся наиболее значимые книги. Это особая библиотека, и доступ к ней строго ограничен из соображений не только церковной дисциплины, но и сохранности самих манускриптов. Я бы рад помочь вам, искренне рад, но моя власть не простирается так далеко. Молитесь, и, быть может, Господь управит обстоятельства.

Они простились тёплым рукопожатием. Дмитрий развернул машину и медленно поехал в обратном направлении, глядя в зеркало заднего вида, как чёрная фигура монаха скрывается за воротами. С одной стороны, поездка в Рязанскую область оказалась внешне безрезультатной: он не добрался до руин, не увидел летописей, не нашёл самого монастыря. Но с другой — короткая встреча с монахом Сергием была словно лучом света в темноте его раздумий.

Теперь он знал, что именно нужно искать. Агриков меч не выдумка, не красивая сказка, а артефакт, имеющий реальную историческую основу, след которого тянется из Святой земли через крестоносцев, через князя Боголюбского, на Рязанскую землю. И он, Дмитрий, был благодарен Алле, пригласившей его вчера познакомиться со старославянской летописью, сам того не зная, она дала ему первый ключ.

Теперь дорога вела его обратно в Москву. За окном проплывали те же поля и перелески, но Дмитрий их почти не замечал. Солнце клонилось к закату, окрашивая облака в розовый и золотой, а вода в Оке стала похожа на расплавленный перламутр. В голове крутилось одно, нужно как можно скорее встретиться с профессором Акимовым.

Александр Иванович, старый, мудрый, знал о тайных обществах, о военных поисках артефактов, о том, чем на самом деле занималось «Аненербе» на оккупированных территориях. Если кто и мог пролить свет на эту загадку, если кто и мог помочь отделить историческую правду от оккультного тумана, то только он. Дмитрий сильнее нажал на педаль газа, Тойота, взревев мотором, понеслась навстречу новому, ещё не написанному приключению.

Весенний воздух, напоённый запахом мокрой земли и распускающихся почек, остался за порогом. Едва Дмитрий шагнул в прохладный вестибюль старого университетского корпуса на Моховой, как его обступила совсем иная атмосфера — густая, слоистая, сотканная из запахов вековой пыли, книжных переплётов, нагретого дерева и едва уловимого аромата химических реактивов, доносившегося откуда-то из подвальных лабораторий.

В вестибюле с высокими сводчатыми потолками и мозаичным полом, выложенным ещё в позапрошлом веке, царил полумрак. Солнечный свет, процеженный сквозь высокие арочные окна, ложился на потемневшие дубовые панели стен широкими золотыми полосами, в которых танцевали бесчисленные пылинки.

Дмитрий направился не к парадной лестнице, ведущей в профессорское крыло, а свернул в боковой коридор, где пахло уже не столько наукой, сколько временем — тем самым особенным, сухим и чуть горьковатым запахом старых зданий, которым пропитываются стены за столетия. Он миновал несколько закрытых дверей с медными табличками, пока не оказался в узком тупике, где за неприметной дверью скрывалась винтовая лестница. Ступени, стёртые тысячами ног, вели вверх, в каморку профессора Акимова.

Поднимаясь, Дмитрий ощущал, как с каждым шагом меняется звук: гулкие отзвуки его шагов постепенно гасились, поглощаемые толщей стен, пока не наступила почти абсолютная тишина, нарушаемая только старческим поскрипыванием половиц под ногами. На маленькой площадке перед обитой чёрным дерматином дверью висел дореволюционный ещё крючок для одежды, а на нём — выцветший картуз, видимо, забытый профессором, здесь ещё прошлой осенью.

Дмитрий постучал, и дверь, словно только и ждавшая этого, чуть приоткрылась сама собой — профессор никогда не запирает кабинет, полагая, что настоящие ценности ворам всё равно не найти.

— Дмитрий Иванович! — раздался знакомый, чуть дребезжащий от возраста, но всё ещё звучный голос. — Проходите, проходите, дорогой мой! Я уж думал, вы не доберётесь до меня раньше майских праздников.

Каморка профессора Акимова была не просто комнатой — это был особый мир, со своим микроклиматом, своей акустикой, своей, если угодно, душой. Потолок здесь был низкий, сводчатый, и Дмитрий, при его росте, почти касался макушкой побелённой арки. Помещение освещалось единственной настольной лампой под зелёным стеклянным абажуром.

Круг света отбрасывался на массивный дубовый стол, заваленный бумагами, картами, свёртками в вощёной бумаге и раскрытыми фолиантами. Остальная часть комнаты тонула в мягком, бархатистом полумраке, где угадывались очертания книжных стеллажей, уходящих под самый потолок.

Два стеллажа изготовленные каким-то безвестным университетским столяром, громоздились вдоль стен. Полки их когда-то прямые, теперь слегка прогнулись под тяжестью книг. Кожаные корешки с золотым тиснением, потрескавшиеся и выцветшие, соседствовали с простыми картонными папками. Рядом лежали рукописные тетради, перевязанные выцветшими лентами. Особый интерес вызывали глиняные таблички, хранившиеся в стеклянных боксах.

В углу, под узким окном-бойницей, выходившим во внутренний двор, громоздились кипы старых газет, перетянутых шпагатом, и тут же стояла потёртая этажерка с бюстом Гомера — подарок благодарных студентов ещё довоенной поры.

Сам профессор, Александр Иванович Акимов, поднялся из-за стола навстречу гостю. Это был сухонький старичок, ростом едва достававший Дмитрию до плеча, но державшийся с той особой, чуть старомодной осанкой, выдававшей в нём человека старой академической школы. Лицо его, покрытое сетью глубоких, но не болезненных морщин, походило на старинный пергамент, на котором время начертало свои знаки. Глаза, чуть прищуренные и окружённые гусиными лапками, светились живым, цепким умом.

Таковыми глазами смотрят на мир люди, привыкшие видеть за частным общее, за фактом — закономерность. Одет он был в поношенный твидовый пиджак, на локтях которого красовались аккуратные кожаные заплатки, пришитые, видимо, собственноручно и не очень ровными стежками. На шее, несмотря на весеннюю духоту, был повязан шерстяной клетчатый шарф — профессор жаловался на хронический бронхит и вечно кутался, словно в кабинете царила вечная зима.

— Чаю? — предложил он, указывая Дмитрию на скрипучий венский стул с продавленным сиденьем, обтянутым потёртым бархатом бутылочного цвета. — Заварка, правда, вчерашняя, но я могу разбавить кипятком. У меня и сушки где-то были... — он принялся рыться в недрах стола, но Дмитрий мягко отказался.

— Александр Иванович, я к вам по делу. По срочному делу.

— Знаю! — Акимов вдруг перестал суетиться, сел, сцепил пальцы на столешнице и посмотрел на Дмитрия тем самым долгим, оценивающим взглядом, от которого студенты на экзаменах теряли дар речи. — Я знал, что ты придёшь. После презентации монгольского трехголового коня у тебя будет время подумать о многих событиях последних лет. Уверен, ты снова вспомнил про программу «Вечности». Поэтому, рано или поздно ты должен был задать мне новые вопросы.

Дмитрий, стараясь не упустить ни одной детали, поведал профессору всё: о звонке Владимира, о странном бизнесмене Всеволоде Градове, который ищет некий «голубой клинок», о летописи, что показала ему Алла Танаева в лаборатории фонда, и о том, как среди потёртых строк ему удалось разобрать название монастыря Рождества Богородицы. Затем — о своей внезапной поездке в Рязанскую область, о весенних полях и старом безлюдном тракте, о встрече с отцом Сергием на обочине и о том, как монах в старенькой чёрной рясе рассказал ему легенду об Агриковом мече — оружии, что сияет во тьме и даёт владельцу нечеловеческую силу.

Акимов слушал, не перебивая. Он чуть подался вперёд, подперев подбородок рукой, и его глаза, увеличенные стёклами старомодных очков в роговой оправе, не отрывались от лица Дмитрия. Временами профессор едва заметно кивал, словно подтверждая для себя нечто давно известное. Когда Дмитрий закончил, в камерке повисла тишина — такая глубокая, что стало слышно, как в углу потрескивает разохшаяся половица.

— Что ж, — наконец произнёс Акимов. — Этого следовало ожидать.

Он поднялся, подошёл к одному из стеллажей и, порывшись в его тёмных недрах, извлёк оттуда объёмистую папку, перетянутую тесёмками. Папка была старая, с картонными корочками, обтянутыми чёрным коленкором, с полустёртой надписью «Хранители. 1937–1941» на наклейке. Профессор вернулся за стол, положил папку перед собой и несколько мгновений сидел, оглаживая её ладонью, словно прощаясь с чем-то, что долго хранил в тайне.

— Я надеялся, что этот разговор не состоится никогда, — сказал он негромко. — Но раз уж вы пришли, значит, время пришло. Итак, Дмитрий Иванович, с чего прикажете начать?

— С Хранителей, — ответил Дмитрий. — Даже отец Сергей упомянул их вскользь, я многое знаю, как сотрудник фонда, принимал участие в Вече.

Акимов кивнул и раскрыл папку. В зелёном свете лампы перед Дмитрием предстали старые фотографии, машинописные листы с грифом «Совершенно секретно», пожелтевшие вырезки из газет, карты с пометками, сделанными от руки.

— Ты, наверное, ожидаешь услышать романтическую историю? — Начал профессор, и в его голосе проскользнула мягкая, понимающая усмешка. — Тайный орден с тысячелетней преемственностью. Пророк Нафан, оберегающий символ, изготовленный для Соломона, а затем оберегаемый в Константинополе, пока Гурий не увез его на Русь. Рыцари, монахи, мистики... Всё это красиво, и, вероятно, даже имеет под собой какую-то основу. Но меня всегда интересовала реальность. А реальность, дорогой мой, гораздо прозаичнее — и оттого гораздо трагичнее.

Он вынул из папки старую фотографию и протянул Дмитрию. Снимок был сделан, судя по одежде, в середине тридцатых годов. На фоне какого-то монастырского собора, ещё не до конца разрушенного, стояла группа людей — человек пятнадцать. Мужчины в поношенных, но тщательно заштопанных пальто, в шляпах и кепках, какие носили до войны.

Женщины в скромных ситцевых платьях и платках. Лица — серьёзные, сосредоточенные, но без того фанатичного блеска в глазах, выдававшего бы религиозных экзальтиков или политических заговорщиков. Обычные лица. Учительницы, счетоводы, музейные смотрители. Только один, стоявший чуть поодаль, в кожаном пальто, с твёрдым, волевым подбородком и холодным взглядом, выделялся из общей массы.

— Вот они, Хранители, последователи Нафана и Гурия. — сказал Акимов. — Группа, стихийно сложившаяся в середине тридцатых годов. Не тайный орден, не наследники тысячелетней традиции. Просто люди, понявшие: — то, что уничтожается прямо сейчас, исчезнет навсегда. Хранители на протяжении веков заботились о сохранении истинной истории, оберегая факты от властителей пытающихся переписать их.

Когда большевики крушили храмы, взрывали колокольни, переплавляли утварь и пускали иконы на щепки, эти люди — историки, краеведы, музейные работники, просто образованные священники, оставшиеся без приходов, — осознали, что вместе с золотом и камнем гибнет сакральное наследие. Невидимая, неосоздаваемая, но реальная сила, веками оберегавшая эту землю. Он перевернул фотографию. На обороте мелким почерком были перечислены фамилии.

— Они не были «орденом» в средневековом смысле. У них не было устава, не было магистра, не было ритуалов. Они называли себя просто — Хранители. Их задачей было сохранить то, что ещё можно сохранить. Спрятать иконы, рукописи, святыни. Составить тайные описи, по которым когда-нибудь, в лучшие времена, можно будет восстановить утраченное. Они действовали на свой страх и риск, зная, что если их поймут — обвинят в хищении социалистической собственности, и тогда уже не расстрел, так лагерь.

— Как же они выжили? — спросил Дмитрий. — Как вообще смогли действовать под носом у НКВД?

— Были периоды, когда власть проявляла к хранителям интерес. — Акимов невесело усмехнулся. — В тридцать седьмом часть арестовали, часть успела уйти в подполье. Самое интересное, что тем, кто выжил, дали... второй шанс. Парадоксально, но в НКВД сидели не только палачи. Там были и прагматики, понимавшие, что война с Германией неизбежна. И когда по агентурным каналам прошла информация, что «Аненербе» — оккультное ведомство Гимmlера — готовит экспедицию в район Рязани за неким могущественным артефактом, на Лубянке вспомнили о Хранителях. Их не уничтожили — их решили использовать.

Профессор откинулся на спинку скрипучего стула, и его глаза, увеличенные стёклами очков, устремились куда-то вдаль, за пределы каморки, за пределы настоящего времени. Он помолчал, собираясь с мыслями, а затем заговорил — негромко, размеренно, словно читая вслух старинную хронику.

— Теперь о мече. То, что рассказал вам отец Сергей, — лишь вершина айсберга. Давайте я разверну перед вами всю картину, насколько она мне известна.

Он вынул из папки пожелтевший лист, исписанный каллиграфическим почерком с ятями и ерами.

— Первое письменное упоминание об Агриковом мече, если отбросить устные былины, мы находим в «Повести о Петре и Февронии Муромских». Повесть эта была составлена в XVI веке монахом Ермолаем-Еразмом, но основана она на гораздо более ранних преданиях, уходящих корнями в домонгольскую эпоху. В ней сказано: князь Пётр, брат муромского князя Павла, разыскал «Агриков меч» в алтаре церкви Воздвижения женского монастыря, что в селе Ласково, под Рязанью. Этим мечом он поразил змея — существо не простое, а способное принимать человеческий облик и насылать морок на целые города. Убить его можно было только особым оружием, «иже есть Агриков меч». Обратите внимание: уже в шестнадцатом веке меч воспринимался не просто как оружие, а как сакральный предмет, обладающий собственной, не зависящей от владельца силой.

Акимов перевернул страницу, и в его глазах зажёгся тот особый огонёк, появляющийся у истинных учёных, когда они приближаются к главной загадке.

— Но корни легенды уходят гораздо глубже. Имя «Агрик» или «Агрика» — это славянская огласовка греческого «Агриос», что означает «дикий», «исполинский», а в более широком смысле — «принадлежащий Агрику». А кто такой Агрик? Библейский царь-исполин, потомок Рефаимов, той самой расы великанов, что обитала на Земле до Потопа. В еврейской традиции он известен как Ог, царь Васанский. Его рост, согласно ветхозаветным текстам, достигал девяти локтей. А меч его, по преданию, был выкован ещё до сотворения человека — то есть, буквально, «старше богов», как и говорилось в пророчестве.

— Пророчестве? — Насторожился Дмитрий.

— О нём позже, — Отмахнулся Акимов. — Сейчас важно другое. В 1967 году в архивах Ватикана, среди бумаг, конфискованных у ордена тамплиеров после их разгрома в 1307 году, была обнаружена любопытная рукопись. Датирована она началом XIII века и принадлежит перу некоего брата Гийома де Буа, капеллана ордена Храма. В рукописи описывается, как тамплиеры, обосновавшись на Храмовой горе в Иерусалиме, вели тайные раскопки в подземельях под бывшим Храмом Соломона. И там, в одной из замурованных камер, они нашли меч. Брат Гийом пишет: «Клинок сей из металла неведомого, сияет во тьме светом голубым, подобно звезде Вифлеемской, и сила, исходящая от него, столь велика, что обращает в бегство целые армии». Тамплиеры сочли его тем самым библейским мечом Агрика — оружием, принадлежавшим исполину и наделённым сверхъестественной мощью.

— И этот меч попал к князю Боголюбскому? — Дмитрий подался вперёд, едва не опрокинув стопку книг на краю стола.

— Именно так, — Кивнул Акимов. — Но, прежде чем, я расскажу вам, как это произошло, позвольте представить вам человека, без которого вся эта история была бы невозможна.

Профессор извлёк из папки ещё одну фотографию — на этот раз репродукцию старинной гравюры, выполненной, судя по всему, с утраченной средневековой миниатюры. На ней был изображён рыцарь в белом плаще с красным крестом, преклоняющий колени перед человеком в русских княжеских одеждах. Лицо рыцаря было суровым, волевым, с резкими, словно вырубленными из камня чертами. Лицо князя — напротив, юным, открытым, с выражением благоговейного трепета и решимости одновременно.

— Жерар де Ридфор, — произнёс Акимов с тем особым уважением, с каким говорят о людях, чей жизненный путь понимаешь далеко не сразу. — Десятый магистр ордена бедных рыцарей Христа и Храма Соломона. Фигура противоречивая, трагическая. Одни историки считают его авантюристом, чья горячность привела орден к катастрофе при Хаттине. Другие —

одним из последних истинных хранителей древних знаний, пожертвовавшим всем ради того, чтобы артефакт не попал в руки тех, кто использовал бы его во зло. Я склоняюсь ко второму мнению.

Акимов отложил гравюру, сцепил пальцы на столе и заговорил медленно, словно погружаясь в транс воспоминаний о том, чего не видел, но что знал до мельчайших подробностей.

— Представьте себе Иерусалим весной 1187 года. До роковой битвы при Хаттине — всего несколько месяцев, но никто ещё не знает, что Иерусалимское королевство обречено. В городе душно, пыльно, пахнет разогретым камнем, пряностями из восточных лавок и едва уловимым, но неотвязным запахом тревоги. Ридфор, уже немолодой человек — ему под пятьдесят, лицо пересечено шрамом, полученным ещё в юности от сарацинской сабли, — понимает: дни крестоносцев на Востоке сочтены. Саладин собирает силы, папа Римский раздираем политическими интригами, а орден Храма расколот изнутри. И тогда Ридфор решается на шаг, как он верит, спасёт не орден, но саму миссию, возложенную на тамплиеров.

Он узнаёт, что один из русских князей, прибывших в Святую Землю с дружиной, сражался под знамёнами крестоносцев и отличился в боях с сарацинами. Князя зовут Глеб Юрьевич, позже он будет прозван Боголюбским. Ему всего двадцать четыре года. Он высок, широкоплеч, русоволос, и в его светлых глазах горит тот самый огонь веры, который тамплиеры ценят превыше всего. Ридфор видит в нём не просто воина, а человека, способного сохранить артефакт.

— В хрониках ордена, — продолжал Акимов, — сохранилась скупая запись: «В лето 1187-е, в канун битвы при Хаттине, магистр Ридфор вручил северному князю священный клинок, добытый в подземельях Храма, и заповедал хранить его в лесах за Окой, где не ступала нога ни латинянина, ни сарацина». Официально — в знак благодарности за воинскую доблесть. В действительности, чтобы спасти меч от уничтожения или, что ещё хуже, от попадания в руки тех, кто использовал бы его силу для порабощения, а не для защиты.

Дмитрий словно наяву увидел эту сцену. Подземная капелла тамплиерской цитадели — низкие каменные своды, грубые стены, сложенные из огромных, намертво пригнанных друг к другу блоков. Воздух здесь холодный и неподвижный, пахнет сыростью, ладаном и нагретым воском. Пламя факелов, закреплённых в железных кольцах на стенах, колеблется от сквозняка, и по сводчатому потолку пляшут причудливые тени, похожие на крылья неведомых существ.

Жерар де Ридфор стоит в центре капеллы, облачённый в белый плащ с алым лапчатым крестом. Ему сорок семь лет — по тем временам почти старик, но держится он прямо, и в его резких, словно вырубленных из камня чертах лица нет и тени старческой дряблости. Шрам, пересекающий левую щеку от скулы до угла рта, придаёт лицу выражение мрачной, закалённой в боях решимости. Глаза — тёмные, глубоко посаженные, лихорадочно блестящие смотрят на коленопреклонённого князя с выражением, в котором смешаны надежда и скорбь.

Глеб Юрьевич, князь Боголюбский, в кольчуге, надетой поверх стёганого поддоспешника, и в тяжёлых сапогах, покрытых дорожной пылью, стоит на одном колене. Его русые волосы, прихваченные на лбу узким кожаным ремешком, влажны от пота — в Иерусалиме даже весной жарко. Он молод, но в его светлых, серо-голубых глазах уже читается та особая, преждевременная усталость, что приходит к людям, слишком рано узнавшим цену жизни и смерти.

— Встань, князь Глеб, сын Юрия. — Произносит Ридфор по-французски.

Глеб поднимается. Ридфор подаёт знак одному из рыцарей, и тот выносит из тёмной ниши длинный предмет, завернутый в плотную алую ткань, расшитую золотыми крестами. Магистр берёт его, и его руки, покрытые старческими пигментными пятнами, чуть дрожат —

не от слабости, но от сознания важности момента. Он разворачивает материю, и подземелье озаряется голубым светом.

Меч прекрасен и страшен одновременно. Клинок длиной в три локтя, обоюдоострый, с чуть заметным желобком для стока крови, сделан из металла, какого никто из присутствующих никогда не видел. Он не стальной и не серебряный — скорее, похож на застывшую воду или на осколок предрассветного неба. В рукояти, обтянутой потемневшей от времени кожей, мерцает крупный сапфир, и именно от него, кажется, исходит это призрачное сияние, заливающее капеллу мертвенным, колдовским светом.

— Это Агриков меч, — говорит Ридфор. Голос его глух, но каждое слово падает весомо, как камень в воду. — Он был найден нашими братьями под развалинами Храма Соломона. Ему нет цены. Его сила не от мира сего. И сегодня я вручаю его тебе, князь, ибо вижу: твоя вера — пламя, а воля — сталь.

Глеб протягивает руки, и едва его пальцы смыкаются на рукояти, голубое сияние усиливается, становится почти ослепительным. Тамплиеры невольно отступают на шаг, кто-то шепчет молитву. Князь же стоит неподвижно, и лицо его, озарённое призрачным светом, исполнено не страха, а глубочайшего, почти религиозного трепета.

— Куда ты повезёшь его? — спрашивает Ридфор.

— В землю рязанскую! — отвечает Глеб. — Там, на Оке, стоит монастырь Рождества Богородицы. Он сокрыт в лесах, в местах, где не ступала нога ни татарина, ни латинянина. Там меч будет в безопасности. Клянусь.

Ридфор кладёт руку на плечо князю и задерживает её на мгновение дольше, чем требует протокол.

— Береги его, князь, — тихо, почти шёпотом, говорит он. — Ибо день, когда меч будет извлечён вновь, станет днём великой жатвы.

Он замолкает, пламя факелов колеблется. За стенами цитадели, в пыльных переулках Иерусалима, перекликаются патрули. И где-то далеко на севере, в непроглядных рязанских лесах, будущее, ещё неведомое никому из присутствующих, уже начинает свой неумолимый отсчёт.

Глава 3. Мистическое подтверждение

Бергхоф, апрель 1941 года

Два месяца минуло с той февральской ночи. Два месяца, в течение которых снег успел растаять на равнинах, а в Баварских Альпах лишь отступить выше, к ледникам, оставив после себя сочную, изумрудную зелень альпийских лугов и студёное, хрустально-прозрачное небо. Однако сегодня горы снова затянуло. Плотный, как вата, туман напал из долины Берхтесгадена, заволакивая пики и ущелья, превращая пейзаж за окном в монохромную акварель, где не было ни верха, ни низа — одна лишь бесконечная, колышущаяся серость.

Резиденция Бергхоф высилась на горе Оберзальцберг, словно каменный орёл, свивший гнездо на недостижимой скале. Это не было домом в привычном смысле слова. Скорее — храм. Или, если угодно, декорация к вагнеровской опере, перенесённая в реальность волей человека, возмнившего себя наследником богов. Массивное трёхэтажное шале с островерхой крышей, способной выдержать тяжесть альпийских снегопадов, было построено из местного серого камня, грубо отёсанного, но подогнанного с немецкой педантичностью. Фасад, обращённый к долине, прорезали огромные, почти во всю стену, окна — глаза хищника, всегда смотрящие вдаль, на мир, который предстояло завоевать.

Подъездная дорога серпантинном вилась от посёлка Оберзальцберг, минуя несколько контрольно-пропускных пунктов, укрытых среди сосен. Террасы перед домом были оформлены с нарочитой, почти языческой простотой: гранитные чаши с неугасимым огнём, каменные скамьи, альпийские цветы, высаженные в строгом геометрическом порядке. Здесь, на высоте, воздух был разреженным, холодным, пахнущим хвоей и талым снегом. Он опьянял и одновременно прояснял мысли. Гитлер часто говорил, что только здесь, в Бергхофе, он способен принимать великие решения. Здесь, над облаками, он чувствовал себя демиургом.

Но сегодня туман скрыл мир, и Бергхоф превратился в остров, плывущий в молочной пустоте. Часовые у ворот, закутанные в шинели, зябко поёживались. Внутри же царило тепло, сухость и тот особый, музейный уют, достигавшийся сочетанием крестьянской простоты и имперской роскоши.

Главный зал Бергхофа был сердцем резиденции. Огромное помещение с каменными стенами, обшитыми светлым деревом, и высоким сводчатым потолком, терявшимся в полумраке. Полы из тёмного, почти чёрного дуба были устланы толстыми персидскими коврами ручной работы, заглушавшими шаги. У дальней стены возвышался камин, сложенный из неотёсанного красного мрамора, такой массивный, что в нём можно было зажарить целого быка. Внутри него сейчас пылали смолистые альпийские дрова, и пламя гудело ровным, убаюкивающим басом. Но даже оно не могло до конца прогнать холод, просачивающийся сквозь панорамное окно — то самое, главное, ради которого сюда приезжали гости со всего мира. Окно это было чудом инженерной мысли: цельное стекло, изготовленное по специальному заказу, способное опускаться в подвал при помощи электромотора, открывая зал навстречу альпийскому ветру. Сейчас оно было поднято, и за ним клубилась лишь белесая мгла — ни гор, ни неба, ни горизонта. У этого окна, заложив руки за спину, стоял Адольф Гитлер.

Он прибыл в Бергхоф три дня назад, покинув Берлин внезапно, без объявления причин. Адьютанты терялись в догадках. Официальная версия — отдых и стратегическое планирование перед решающей фазой подготовки операции «Барбаросса». Неофициальная, известная лишь узкому кругу посвящённых, — ожидание. Он ждал результатов работы аналитического отдела «Аненербе». И сегодня, наконец, дождался.

Фюрер был облачён в свой обычный полевой френч серо-зелёного сукна, без излишних наград, с одним лишь Железным крестом первого класса на левом нагрудном кармане. Брюки

навыпуск, чёрные, тщательно отутюженные. На ногах — мягкие кожаные сапоги без каблучков. Он выглядел подтянутым, собранным, но бледность, появившаяся после февральского сеанса, так до конца и не сошла с его лица. Под глазами залегли тени, которые не могли скрыть ни горный воздух, ни инъекции доктора Морелля. Но взгляд — взгляд горел. Горел тем самым, особенным огнём, всегда предшествовавший великим решениям.

Перед ним, на массивном столе из морёного дуба, покрытом зелёным сукном, лежали два документа. Именно ради них он прервал череду военных совещаний и уединился здесь, вдали от посторонних глаз. Первый — тонкая кожаная папка с грифом «GENEIM» (Секретно), оттиснутым алыми литерами. Внутри — машинописная распечатка на бланке «Аненербе». Стенограмма. Дословная запись того, что произошло в «Камере зеркал» два месяца назад. Гитлер взял лист в руки, поднёс ближе к глазам. Строчки, выбитые на бумаге аккуратным готическим шрифтом, складывались в слова, которые он знал наизусть, но всё равно перечитывал снова и снова, как верующий — молитву.

«Dort, wo die Oka den Wald umarmt, ist die Klinge verborgen, die älter ist als die Götter...»

Его губы беззвучно зашевелились, повторяя: «Там, где Ока встречается лес...» Он видел эту реку. Видел во снах, в видениях, посещавших его всё чаще. Извилистая голубая змея, медленно текущая сквозь бескрайние, тёмные, полные опасностей леса. Леса, в которых прячутся партизаны, комиссары, недочеловеки — и одновременно с этим древняя, до-арийская сила, ожидающая своего часа.

«...Der Enkel wird finden, was der Großvater verlor... und der Kreis schließt sich mit Blut.»

«Внук найдёт то, что потерял дед...» — эту фразу эксперты «Аненербе» обвели красным карандашом и снабдили вопросительным знаком на полях. Они не смогли дать ей однозначного толкования. Но Гитлера это не беспокоило. Он уже для себя всё решил. «Внук» — это метафора. Новая германская раса, которую унаследует мир после окончательной победы. Он, Адольф Гитлер, — её дед, её прародитель, её создатель. А кровь... Что ж, кровь — это то, чего будет много. Очень много. «Час кровавой жатвы» — это и есть «Барбаросса». Великий восточный поход, стирающий с лица земли большевистскую гидру и открывающий путь к Lebensraum, жизненному пространству. И где-то там, в междуречье Оки и Волги, среди дыма пожарниц и лязга гусениц, его ждёт клинок. Награда. Венец.

Он аккуратно отложил стенограмму и взял в руки второй документ. Он был толще, основательнее — аналитическая записка, подготовленная картографическим и историческим отделами «Аненербе» под личным руководством штурмбаннфюрера Зиверса. Папка из чёрной свиной кожи, уголки окованы серебром. На обложке — руна «Одал» и заголовок: «Betreff: Objekt "Schicksalsklinge". Analytischer Bericht Nr. 7» (Касательно: Объект «Клинок судьбы». Аналитический доклад № 7).

Гитлер раскрыл папку. Первая страница — карта. Не та, к которой он привык на военных совещаниях, — с позициями дивизий, направлениями ударов и линиями снабжения. Это была этнографическая, археологическая карта, восстановленная по летописям и данным агентурной разведки. Река Ока выделялась на ней жирной синей линией, протянувшейся от Рязани на юго-востоке до Муром на северо-востоке. Вокруг — обширные зелёные пятна: Мещерская низменность, Муромские леса. Древние, заповедные, почти не тронутые цивилизацией чащи, где ещё сохранились языческие капища и курганы. Именно там, в треугольнике между Рязанью, Муромом и впадением Оки в Волгу, был очерчен красным карандашом квадрат 37-Б.

Он перевернул страницу. Историческая справка, составленная каким-то эрудитом из отдела древней истории. Строчки прыгали перед глазами, но ключевые фразы он выхватил мгновенно:

«...легендарный Агриков меч, упоминаемый в славянской мифологии и агиографии, в частности — в "Повести о Петре и Февронии Муромских", где фигурирует как чудесное оружие, дарованное свыше...»

Гитлер хмыкнул. «Чудесное оружие, дарованное свыше». Христианский бред. На самом деле, клинок гораздо древнее. Эксперты «Аненербе» это подтверждали.

«...анализ корневых основ позволяет возвести слово "Агриков" не к славянским, а к индоевропейским, возможно — протоарийским корням. С вероятностью 98% объект является артефактом гиперборейской цивилизации, утерянным в ходе Великого переселения народов и ассимилированным местными финно-угорскими и славянскими племенами...»

Гиперборейское наследие. Вот что было ключом. Их наследие. Наследие арийской расы, затерянное на востоке, среди варваров. Меч, который старше богов — старше германских, старше скандинавских, старше римских. Оружие, которым, возможно, владели предки, жившие в те времена, когда мир был юн, а кровь — чиста.

Следующая страница — предполагаемые свойства артефакта. Здесь эксперты опирались на расшифровки Крафта, на фольклорные данные, на оккультные трактаты, изъятые из библиотек масонских лож. Перечень выглядел как список чудес из средневекового гримуара, но Гитлер не усомнился ни в одном пункте:

«1. Свечение: клинок испускает голубое сияние в темноте, природа его не установлена (предположительно — холодная плазма или неизвестная форма энергии).

2. Неуязвимость: владелец клинка, согласно всем источникам, не может быть поражен обычным оружием.

3. Сила: меч наделяет владельца "нечеловеческой", то есть превышающей обычные физические возможности, мощью.

4. Избирательность: артефакт подчиняется не всякому, а лишь тому, чья "вера — пламя, а воля — сталь" (см. стенограмму пророчества). Дополнительные критерии избранности уточняются.»

Гитлер оторвался от чтения. Подошёл к панорамному окну. Туман за стеклом колыхался, как живой, и в его молочной глубине фюреру снова почудилось голубое сияние — то самое, из пророчества, из снов, из самой бездны его подсознания. «Вера — пламя, а воля — сталь». Кто ещё в этом мире обладал такой верой, как он? Кто ещё сумел в одиночку, без армии, без денег, без титулов, подняться из безвестности и поставить на колени всю Европу? Кто ещё вёл за собой миллионы, обещая им тысячелетний Рейх, и миллионы верили? Только он. Значит, клинок ждёт именно его.

Он вернулся к столу. Последняя страница записки — резюме и рекомендации. Штурмбаннфюрер Зиверс, педантичный, как всегда, разложил всё по пунктам:

«Вывод: Объект "Schicksalsklänge" с вероятностью 98% находится в квадрате 37-Б (район Рязань — Муром). Точное местоположение — предположительно, под одним из старых монастырей или в системе подземных ходов, связанных с языческими капищами.

*Рекомендация: Немедленная организация специальной экспедиции "Аненербе" в квадрат 37-Б. Ввиду запланированного начала фазы активных боевых действий (операция "Барбаросса") экспедиция должна быть замаскирована под этнографическую миссию и обеспечена военным прикрытием. Целесообразно задействовать части группы армий "Центр" для блокирования района поисков и предотвращения возможного уничтожения или эвакуации артефакта противником.»

«Сроки: Окно благоприятной астральной конфигурации, рассчитанное гауптштурмфюрером Крафтом, открывается в период с 15 мая по 15 июля 1941 года. Изъятие артефакта вне этого периода сопряжено с риском неактивации его свойств.»

Гитлер закрыл папку. Положил на неё ладонь — маленькую, почти женскую, но с необычайно длинным, цепким большим пальцем. Затем перевёл взгляд на главную карту — ту, что занимала весь соседний стол. Оперативная карта Восточного фронта, пока ещё воображаемого, но уже расчерченного жирными стрелами танковых клиньев. Группа армий «Центр». Направление главного удара — Минск, Смоленск, Москва. А южнее Москвы, в междуречье Оки, — та самая точка, которую он сейчас накрыл своей ладонью.

Пальцы сомкнулись над Рязанью и Муромом, словно когти хищной птицы, хватающей добычу.

— Час кровавой жатвы, — произнёс он вслух, и голос его, хриплый после долгого молчания, разнёсся по пустому залу. — Моя жатва. Мой час.

Он рывком выпрямился. Нетерпение, дремавшее где-то в глубине, вырвалось наружу. Фюрер подошёл к камину, бросил в огонь новое полено — резко, почти яростно — и наблюдал, как пламя жадно пожирает смолистую древесину. Затем вернулся к столу, нажал кнопку вызова, вмонтированную в столешницу.

В дверях, бесшумно отворившихся, возник адъютант — штурмбаннфюрер СС Отто Гюнше, молодой, рослый, вышколенный до автоматизма.

— Соедините меня с рейхсфюрером Гиммлером, — приказал Гитлер, не оборачиваясь. Голос его звенел металлом. — И приготовьте линию связи с группой армий «Центр». Фельдмаршал фон Бок получит особый приказ. Выполняйте.

Адъютант выбросил руку в салюте и исчез, притворив дверь с той безупречной, почти тельной бесшумностью, на какую способны лишь люди, привыкшие ходить по краю пропасти.

Гитлер снова повернулся к окну. Туман за стеклом, казалось, начал рассеиваться — или это лишь игра воображения? Ему чудилось, что он видит там, далеко на востоке, за тысячи километров, как колышутся муромские леса, как несёт свои тёмные воды Ока, как в глубине подземелья, под замшелыми сводами древнего монастыря, медленно разгорается голубое сияние. Клинок просыпался. Клинок стремится обрести своего хозяина, а он, Адольф Гитлер, не заставит ждать долго.

Гитлер рывком выпрямился, хребет его, до этого ссутуленный в напряжённом ожидании, распрямился, плечи развернулись. Вся нерешительность последних недель — та липкая, изматывающая неопределённость, что заставляла его просыпаться среди ночи в холодном поту и вглядываться в оперативные карты до рези в глазах, — исчезла без следа, словно туман, сожжённый утренним солнцем. Её место заняла холодная, кристально чистая, звенящая уверенность. Это было не безумие. Это была судьба. Мистическое откровение, полученное в подземной камере на Тирпицуфер, нашло полное, исчерпывающее подтверждение в аналитических выкладках «Аненербе». Легенда обрела плоть, пророчество — координаты. Оставалось лишь протянуть руку и взять то, что принадлежало ему по праву избранного.

Он схватил телефонную трубку. Не ту, что стояла на столе с картами, — обычный аппарат правительственной связи, — а массивную, из чёрного бакелита, с серебряным имперским орлом на диске, трубку аппарата прямой связи с СС. Соединение установилось мгновенно — на том конце провода дежурил один из адъютантов рейхсфюрера, обязанный отвечать на звонки фюрера быстрее, чем срабатывает взрыватель гранаты.

— Говорит фюрер, — произнёс Гитлер, и голос его, сорвавшийся на фальцет, эхом отразился от каменных стен зала. — Соедините меня с Зиверсом из «Аненербе». Немедленно. И разыщите Крафта, где бы он ни находился. Оба должны быть в Большом зале Бергхофа через пять минут. — Он сделал короткую паузу, переводя дыхание, и добавил, чеканя каждое слово: — И приготовьте канал связи с группой армий «Центр». Лично для фельдмаршала фон Бока. Выполняйте.

Он бросил трубку на рычаг, не дожидаясь ответа. Ответ ему не требовался. Приказы фюрера не обсуждались — они исполнялись с той неумолимой, механической неотвратимостью, с какой горный поток срывается в пропасть.

Теперь нужно было ждать. Считать минуты, оставшиеся до прибытия Зиверса и Крафта, и Гитлер знал, чем занять эти минуты. Он подошёл к окну.

Главный зал Бергхофа, сердце резиденции, раскрывался перед ним во всей своей давящей, монументальной красоте. Это было помещение, спроектированное не для уюта, а для величия — величия настолько абсолютного, что оно граничило с холодом склепа. Массивные каменные стены, сложенные из серого альпийского гранита, были обшиты панелями светлого кедра. Высокий сводчатый потолок уходил в сумрак, теряясь где-то на высоте шести метров, и оттуда, из полумрака, свисала чугунная люстра на тяжёлых цепях — подобие железной короны, увенчанной не свечами, а тусклыми электрическими лампами, сейчас приглушёнными до минимума. Света они давали ровно столько, чтобы выхватить из тьмы основные объёмы, оставив углы и ниши во власти теней.

В центре зала, словно языческий алтарь, возвышался колоссальный камин, сложенный из неотёсанных глыб красного мрамора, добытого где-то в каменоломнях Зальцбурга. В его чреве пылал огонь — жаркий, почти яростный, пожирающий целые поленья смолистой сосны. Но даже это пламя, способное, казалось, растопить лёд на горных вершинах, не могло прогреть «храм ледяного величия». Тепло уходило куда-то вверх, под своды, оставляя внизу лишь ощущение зябкости, пробирающей до костей, и запах горячего камня, смешанный с ароматом воска и горького одеколона.

Пол был устлан тяжёлым персидским ковром — творением иранских мастеров, купленным за баснословные деньги. Его густой бордовый ворс с вплетёнными золотыми нитями, изображавшими сцены древней охоты, поглощал шаги, делая передвижения по залу бесшумными, призрачными.

Рядом с окном, на гранитном постаменте, высился массивный глобус — не просто географический прибор, а символ. Символ мира, который скоро ляжет к ногам фюрера. Глобус этот, изготовленный по специальному заказу в мастерских Нюрнберга, был величиной с добрую винную бочку. Гитлер часто подходил к нему, клал ладонь на выпуклый бок, заставлял вращаться медленно, задумчиво, словно гипнотизируя. Сегодня он лишь скользнул по нему взглядом. Все его мысли были прикованы к тому участку суши, что находился восточнее Москвы.

В глубине зала, у противоположной от окна стены, располагался массивный стол, накрытый зелёным сукном. Он был завален картами — оперативными, топографическими, этнографическими. Карты Восточной Европы, на них Гитлер в последние недели смотрел чаще, чем на лица своих генералов. Там же, аккуратной стопкой, лежали папки с документами, среди которых выделялась чёрная кожаная — аналитическая записка «Аненербе».

Всё это было лишь антуражем. Истинным властелином этого зала, его душой и его проклятием было окно. Огромное, почти во всю стену, панорамное окно из цельного листа стекла. Шедевр инженерной мысли, оно было способно опускаться в подвал при помощи электромотора, стирая грань между интерьером и альпийской стихией. Сейчас оно было поднято, и за ним простиралась бездна.

Зубцы альпийских вершин в ясную погоду ослепительно белые, увенчанные вечными снегами, сегодня были скрыты плотным, как сбитые сливки, туманом. Он клубился за стеклом, закручивался воронками, разбивался о невидимые скалы, и в этом медленном, беззвучном танце чудилось что-то гипнотическое, колдовское. Мир за окном исчез. Не было ни гор, ни неба, ни долины Берхтесгадена, усеянной игрушечными домиками. Была лишь белесая пелена, создающая ощущение, что Бергхоф последний остров реальности в хаосе, ковчег, плывущий по волнам первозданного эфира.

Гитлер стоял у окна, почти касаясь лбом холодного стекла, и сжимал в руке машинописную распечатку пророчества. Пальцы его, всё ещё хранившие лёгкую дрожь, комкали бумагу с такой силой, что костяшки побелели. Он смотрел в туман, но видел не Альпы, а далёкие русские леса.

Муромские чащи вставали перед его внутренним взором дремучие, непроходимые, полные древних тайн. Он видел замшелые стволы сосен, чёрные зеркала болот, петляющие тропы, известные лишь лесным отшельникам да партизанам. Видел извилистую ленту Оки, несущую свои тёмные, холодные воды сквозь бескрайние просторы. Видел полуразрушенные купола старых монастырей, притаившихся среди буреломов, — свидетелей веков, хранителей тайны.

И где-то там, в глубине, под землёй, под каменными сводами, под толщей времени, покоился он. Клинок. Агриков меч. Артефакт, старше богов. И он не просто лежал — он светился. Голубое сияние, бледное, как пламя болотного газа, пульсировало во тьме подземелья, словно сердце спящего дракона. Ждало. Звало. Обещало.

«Старше богов, — прошептал Гитлер, и дыхание его затуманило стекло, на мгновение скрыв призрачное видение. — Моя вера — пламя. Моя воля — сталь. И ты будешь моим».

Он провёл ладонью по стеклу, стирая влажный след, словно открывая завесу. Туман за окном на мгновение разорвался, порыв горного ветра ударил в стекло, заставив его едва заметно дрогнуть, и в прорехе, далеко-далеко, блеснул луч заходящего солнца. Холодный, бледно-голубой. Точь-в-точь такой, каким ему представлялось знамение в виде сияющего меча.

Однако, когда массивная дубовая дверь затворилась за адъютантом и в зале снова воцарилась тишина, Гитлер не остался стоять у окна. Прошло не больше минуты, а он уже снова был на ногах, гонимый тем внутренним огнём, что не давал ему покоя ни днём, ни ночью. Он ходил по залу — не прогуливался, а именно метался, заложив руки за спину и ссутулив плечи. Его шаги тонули в густом ворсе персидского ковра, но ритм их был резким, рваным, словно биение аритмичного сердца. От камина к окну. От окна к камину. Развернуться. Снова к окну.

Пальцы нервно теребили лацкан серо-зелёного френча, то поправляя Железный крест, то сжимая грубую ткань в кулак. Мысли, только что выстроившиеся в стройную цепь — пророчество, аналитическая записка, приказ, теперь снова рассыпались, как рассыпается картонный домик от сквозняка. Он ждал. Ждал уже не два месяца, не две недели — он ждал всю свою жизнь. Только раньше он не знал, чего именно ждёт, а теперь знал и от этого ожидание стало невыносимым.

План «Барбаросса» был утверждён ещё в декабре. С тех пор гигантская военная машина Рейха пришла в движение, и остановить её было уже невозможно. Эшелоны с танками и пехотой, замаскированные под учения, ползли к границам Советского Союза. Склады ломились от боеприпасов и горючего. Генералы, ещё недавно осмеливавшиеся робко возражать, теперь молчали, покорённые неумолимой логикой его стратегического гения. Всё было готово. Почти всё, не хватало одного. Даты.

Он не мог её назвать. Не мог просто ткнуть пальцем в календарь, сказать: «Вот в этот день мы начинаем» — и отдать приказ. В нём, в человеке, всегда гордившимся своей интуицией, своим звериным чутьём, жил глубинный, иррациональный страх. Страх не перед Красной Армией, не перед английским флотом, не перед американскими промышленниками. Страх перед историей. Он слишком хорошо помнил судьбу Наполеона. Корсиканец тоже стоял на берегу Немана, тоже вёл за собой величайшую армию Европы, тоже грезил о покорении Востока. И чем всё кончилось? Берёзовыми крестами в снегах, отступлением, бесславным финалом на острове Святой Елены.

Гитлер не хотел повторить его судьбу. Ему нужен был знак. Мистическое подтверждение того, что его поход — не авантюра, не повторение ошибок прошлого, а предначертанный свыше, предначертанный самой судьбой путь к абсолютному триумфу. Он ждал этого знака с

февраля. Ждал с того самого момента, как голос, говоривший устами цыганской ведьмы, произнёс слова о клинке, старше богов, и о часе кровавой жатвы.

Аналитическая записка «Аненербе» была хороша. Чертовски хороша. Но это была наука, пусть и оккультная. А ему требовалось нечто большее. Ему требовалось, чтобы сам клинок подал голос. Чтобы голубое сияние, которое он видел во снах, пробилось сквозь толщу реальности и указало путь. Но туман за окном молчал. Горы молчали. И Зиверс с Крафтом всё ещё не прибыли.

Эта мысль — что они задерживаются, что они смеют заставлять его ждать — кольнула в висок острой иглой. Гитлер резко остановился посреди зала и бросил взгляд на дверь. Никого.

В этот момент боковая дверь — та, что вела из кухонных помещений, тихо приоткрылась, и в зал скользнул слуга. Пожилой, лысоватый, в безупречно отглаженном белом кителе, он нёс на серебряном подносе чашку травяного чая — ромашка, мята, капелька мёда. Ровно то, что предписывал фюреру доктор Морелль для успокоения нервов. Слуга двигался осторожно, почти неслышно, но именно эта осторожность и выдала его, он замешкался, обходя массивный глобус, и чашка на подносе едва слышно звякнула о блюде.

— Бездари! — выкрикнул он резким, лающим фальцетом, развернувшись к слуге всем корпусом. Лицо его побелело, на скулах выступили красные пятна. — Сколько можно ждать?! Мне нужна ясность, а не этот... этот горный кисель за окном! И не твой поганый чай!

Слуга замер, втянув голову в плечи. Поднос в его руках дрожал, чашка звенела всё громче, расплёскивая содержимое. Он попытался что-то пролепетать, но из горла вырвался лишь невнятный хрип.

— Пошёл вон! — рявкнул Гитлер, взмахнув рукой. — Вон!

Слуга исчез, буквально испарился, будто его и не было. Дверь затворилась. В зале снова наступила тишина, нарушаемая лишь треском дров в камине и тяжёлым, свистящим дыханием фюрера.

Он постоял несколько секунд, закрыв глаза и сжав кулаки. Вспышка ярости отхлынула так же внезапно, как и накатила, оставив после себя лёгкую, почти приятную опустошённость. Он знал эту свою особенность: иногда требовалось выплеснуть гнев на первого попавшегося, чтобы привести нервы в порядок, чтобы мысли снова выстроились в ровную шеренгу. Сейчас требовалось именно это.

Он глубоко вздохнул, поправил френч, провёл ладонью по волосам, приглаживая выбившуюся прядь. Затем подошёл к камину и протянул руки к огню. Пламя лизнуло его ладони теплом. В висках всё ещё пульсировало, но это была уже другая пульсация — не гневная, а сосредоточенная.

«Они придут, — сказал он себе. — Придут, и всё встанет на свои места. Я получу свой знак. Я получу свой клинок. И тогда — тогда я назову дату. И эта дата станет началом новой эры».

Он поднял голову и снова посмотрел в окно. Туман за стеклом, казалось, начал редеть. Или это лишь игра света? В любом случае, горизонт ещё был скрыт, но где-то там, на востоке, за тысячи километров отсюда, его армии уже выстраивались в боевые порядки. Его танковые дивизии. Его люфтваффе. Его солдаты. И скоро они двинутся вперёд, сметая всё на своём пути, прокладывая дорогу к клинку. К его клинку.

Тишину разорвал долгожданный стук в дверь. Три коротких удара — условный сигнал адъютанта. Гитлер выпрямился. На лицо его вернулась привычная маска ледяного спокойствия. Он не обернулся, а лишь бросил короткое, как выстрел:

— Войдите. — Бросил Гитлер, не оборачиваясь.

Массивная дубовая дверь бесшумно отворилась, на пороге возникли двое и первым в зал вошёл Вольфрам Зиверс.

Он переступил порог с той особой, отработанной до автоматизма чёткостью, какая выгодно отличает кадрового офицера от штатского. Высокий, сухощавый, с фигурой, словно вычерченной по линейке, он казался олицетворением самого духа СС — аскетичного, беспощадного, подчинённого высшему порядку. Чёрная эсэсовская форма сидела на нём как влитая: ни единой лишней складки, ни единой морщинки. Португез пересекала грудь безупречной диагональю, серебряная пряжка ремня сияла, а петлицы с рунами «Зиг» выделялись на чёрном сукне, словно два оскаленных волчьих клыка.

Лицо Зиверса было под стать фигуре — узкое, с резкими, рублеными чертами, словно высеченное из серого альпийского камня. Высокие скулы, впалые щёки, тонкий, крепко сжатый рот, производивший впечатление человека, никогда не улыбающегося без приказа. Нос с лёгкой горбинкой, выдававшей вестфальские корни. Но самое поразительное, самое запоминающееся в этом лице были глаза. Глубоко посаженные, светло-серые, почти бесцветные, они горели тем особенным, лихорадочным огнём, отличающим не просто солдата, но фанатика. Это был взгляд учёного-мистика, человека, заглянувшего в такие бездны, куда обычный смертный не рискнул бы и заглянуть, и нашёл там не ужас, а источник силы. Взгляд человека, готового препарировать саму реальность, чтобы извлечь из неё тайное знание.

Зиверс чеканил шаг, и звук его сапог, хоть и приглушённый ковром, сохранял чёткий, размеренный ритм словно метроном, отсчитывающий последние секунды перед началом великих событий. Он был собран, подтянут, напряжён, как взведённый курок. В левой руке он держал чёрную кожаную папку с серебряной руной «Одал» на обложке, очевидно, дополнительные материалы, не вошедшие в основной доклад. Он приблизился к центру зала, остановился на почтительном расстоянии от фюрера и выбросил правую руку в безупречном салюте.

— Хайль Гитлер! — голос его прозвучал ровно, твёрдо, без тени подобострастия, но с той абсолютной, железной почтительностью, какая и ожидалась от офицера его ранга.

За ним, чуть отстав на полшага, в зал проскользнул Карл Эрнст Крафт и являл он собой полную, почти гротескную противоположность Зиверсу. Если штурмбаннфюрер был лезвием, то Крафт был мешком с мукой. Низкорослый, полноватый, с округлыми плечами и сутулой спиной, он выглядел человеком, который всю жизнь провёл, склонившись над книгами и гороскопами, позабыв о существовании физических упражнений и строевой подготовки.

Его гражданский костюм, тёмно-коричневый, из дешёвой шерсти, сидел на нём мешковато, топорщась на животе и собираясь складками на локтях. Галстук, повязанный кое-как, съехал набок, узел ослаб. Воротничок сорочки, явно несвежей, был тесноват и врезался в шею, отчего Крафт время от времени нервно дёргал головой, словно пытаясь освободиться от удавки. На носу, среди оспин и капель пота, сидели круглые очки в тонкой стальной оправе, которые он поминутно поправлял указательным пальцем. Лысина, обрамлённая венчиком жидких каштановых волос, блестела в свете камина.

Но самой примечательной деталью была папка. Крафт прижимал её к груди обеими руками — не просто нёс, а именно прижимал, как утопающий прижимает спасательный круг, как солдат прижимает щит перед боем. Это была потрёпанная, засаленная папка из коричневого картона, разбухшая от бесчисленных бумаг, перетянутая бечёвкой. Из неё торчали края астрологических карт, испещрённых кругами, символами и непонятными пометками. В этой папке заключалась вся его жизнь, вся его работа, все его страхи и надежды, и он держался за неё так, словно она могла защитить его от чего угодно. Даже от гнева фюрера.

Крафт семенил за Зиверсом, стараясь держаться в его тени, и весь его облик кричал о том, что он чувствует себя здесь чужим. Он выглядел как человек, попавший в клетку к хищнику, затравленный, нервный, но вынужденный повиноваться. Его бегающий взгляд перескакивал с предмета на предмет: на глобус, на камин, на карты, на затылок Зиверса, но избегал встречаться с глазами Гитлера. Он уже знал по опыту: его предсказания не всегда угодны фюреру. А

то, что он должен был доложить сегодня, могло как вознести его на вершину, так и отправить в подвалы гестапо.

Когда Зиверс остановился и выбросил руку в салюте, Крафт едва не налетел на него сзади. Он торопливо отступил на шаг, поправил очки, перехватил папку поудобнее и тоже вскинул руку, но жест вышел скомканным, неуверенным — локоть согнут не под тем углом, ладонь дрожит. В его исполнении нацистский салют выглядел почти пародией, но никто в зале не улыбнулся.

— Хайль Гитлер, — выдавил Крафт, и голос его, в отличие от Зиверсовского, дал петуха, сорвавшись на конце в какой-то жалобный писк.

Гитлер, всё ещё стоявший у окна спиной к вошедшим, медленно обернулся. Его взгляд скользнул по Зиверсу одобрительно, оценивающе, как скользит взгляд оружейника по отлично сработанному клинку. Затем перешёл на Крафти задержался на нём на несколько секунд дольше, чем тому хотелось бы. Фюрер разглядывал астролога с тем же брезгливым любопытством, с каким разглядывал в феврале медиума. Инструмент. Полезный, но грязный. Терпимый, но не более того.

Фюрер медленно повернулся. Он стоял спиной к камину, и пламя за его спиной очерчивало его фигуру зловещим ореолом, превращая в тёмный силуэт, увенчанный багровым сиянием. Лица его не было видно — лишь глаза, отражающие огонь, горели двумя углями.

— Господа, — произнёс он тихо, но в тишине зала каждое слово прозвучало отчётливо, как удар колокола. — Два месяца назад в Берлине мне было дано пророчество. Сегодня ваши аналитики подтвердили: клинок существует. Он ждёт нас. — Он сделал паузу, обвёл обоих тяжёлым взглядом. — С этого момента операция «Клинок судьбы» вступает в активную фазу. Зиверс, вы лично возглавите экспедицию. Крафт, ваши астрологические расчёты определяют точную дату изъятия. Времени на подготовку — минимум. Через несколько недель мои армии перейдут границу, и к тому моменту меч должен быть у меня. Любой ценой. Вам ясно?

— Так точно, мой фюрер! — отчеканил Зиверс, и в его глазах вспыхнул тот же фанатичный огонь, что горел в глазах Гитлера.

Крафт лишь судорожно кивнул, не в силах вымолвить ни слова. Папка в его руках дрожала. Гитлер перевёл взгляд на окно. Там, за стеклом, сгущались сумерки, и голубое сияние — то ли закат, то ли отблеск далёкого артефакта разгоралось всё ярче, указывая путь на восток.

Гитлер не стал тратить время на приветствия. Едва Крафт опустил дрожащую руку, неловко завершив салют, фюрер шагнул к нему резко, стремительно, так что швейцарец невольно отшатнулся назад и едва не выронил свою папку.

— Вы обещали мне нечто важное, Крафт, — произнёс Гитлер, и голос его, лишённый каких-либо любезностей, хлестнул, как удар бича. — Сроки. Меня не интересует движение звёзд. Меня не интересуют туманные аллегории и средневековые басни. Меня интересует, благоприятны ли эти ваши звёзды для удара, который перевернёт мир. Говорите по существу. И говорите сейчас.

Крафт судорожно сглотнул. Кадык его дёрнулся, на лбу выступила испарина. Он торопливо, путаясь в тесёмках, раскрыл свою папку — ту самую, потрёпанную, разбухшую от бумаг, и на свет божий показались астрологические карты, исчерченные кругами, секторами, зодиакальными знаками, руническими символами и стрелками, указывающими на какие-то загадочные пересечения орбит. Несколько листов выскользнуло и спланировало на ковёр, но Крафт даже не заметил этого. Его пальцы дрожали, перебирая бумаги, пока наконец он не извлёк нужный лист — большой, сложенный вдвое, с нанесённой на него сложной астрономической диаграммой.

— Мой фюрер, — начал он, запинаясь на каждом слове, — я провёл расчёты... глубочайшие расчёты, какие только возможны при нынешнем уровне астрологической науки. То, что я обнаружил, не имеет аналогов в обозримой истории. Речь идёт о великом соединении планет

в знаке Рыб — конфигурации настолько редкой, что она повторяется лишь раз в несколько столетий. Подобное расположение небесных тел наблюдалось во времена падения Рима... во времена крестовых походов... и, согласно моим вычислениям, — он набрал в грудь воздуха, словно перед прыжком в ледяную воду, — оно повторится в ближайшие месяцы. В мае, июне, июле этого года. Точнее, окно силы открывается пятнадцатого мая и достигает пика к двадцать второму июня.

Гитлер молчал. Его лицо оставалось неподвижным, как гранитная маска, но пальцы правой руки, постукивающие по бедру, выдавали нетерпение. Крафт, ободрённый тем, что его не прервали, продолжил:

— Самое поразительное — не само соединение. Самое поразительное — его земная проекция. Каждое великое астральное событие имеет свою географическую точку, точку максимальной концентрации космической энергии. Я вычислил её. Я перепроверил расчёты десятки раз, используя не только современные методы, но и пророчества Нострадамуса, и старинные германские рукописи, которые удалось извлечь из архивов «Аненербе». Всё сходится, мой фюрер. Всё указывает на одну точку.

Он сделал паузу, и в зале повисла звенящая тишина. Даже пламя в камине, казалось, притихло.

— Эта точка находится на Востоке. — Выдавил Крафт, и голос его сорвался до шёпота. — В междуречье Оки и Волги и там, мой фюрер, — центр силы. Там земля хранит нечто, способное дать абсолютную власть.

Последние слова упали в тишину, как камни в чёрную воду. Гитлер не шевелился. Его глаза, прищуренные, холодные, буравили Крафта насквозь. Швейцарец замер, прижимая к груди астрологическую карту, словно распятие, и в этот момент напоминал не учёного, а нашкодившего школьника, ожидающего наказания.

Тишина затягивалась и тогда в игру вступил Зиверс. Он сделал шаг вперёд — плавный, но властный, шаг человека, привыкшего перехватывать инициативу в самый нужный момент. Его чёрная форма контрастировала с мешковатым костюмом Крафта, как клинок контрастирует с куском хозяйственного мыла.

— Мой фюрер, — голос Зиверса прозвучал чётко, размеренно, с той особой интонацией, какая бывает у людей, привыкших докладывать о конкретных результатах, а не о туманных предчувствиях, — позвольте мне перевести астрологические выкладки гауптштурмфюрера Крафта на оперативный язык. То, что он обнаружил в движении небесных сфер, нашло полное и безусловное подтверждение в работе моего института.

Зиверс положил на край стола свою чёрную кожаную папку, раскрыл её и извлёк несколько листов — машинописные отчёты, фотокопии древних рукописей, карты с пометками.

— В ходе подготовки к операции «Барбаросса», — продолжил он, — «Аненербе» проводило планомерный анализ всех доступных архивных материалов, касающихся восточных территорий. Мы прочесали библиотеки, изъятые в Польше и Чехословакии. Мы изучили масонские архивы, конфискованные в Вене и Праге. Мы подключили агентурную сеть, работающую на территории СССР. И повсюду — понимаете, мой фюрер? — повсюду мы наткнулись на один и тот же странный пласт легенд. Легенд, совершенно не свойственных славянским варварам.

Он сделал короткую паузу, проверяя реакцию Гитлера. Фюрер слушал. Его взгляд, до этого направленный на Крафта, переместился на Зиверса и стал острее, сосредоточеннее.

— Эти легенды говорят о «голубом клинке», — чеканил Зиверс. — О мече, не ржавеющем, светящимся во тьме, который не может взять в руки никто, кроме избранного. Мы сопоставили тексты. Меч Агрика — он же Агриков меч, он же меч царя-исполина — фигурирует в летописях, датируемых задолго до возникновения Киевской Руси. Он упоминается в «Повести о Петре и Февронии Муромских», где представлен как чудесное оружие, дарованное свыше.

Он описан в фольклоре вятичей и муромы — племён, населявших междуречье Оки и Волги. В описаниях сказано чётко и однозначно: клинок, сияющий в темноте мертвенным голубым светом. Клинок, рассекающий любую броню. Клинок, дарующий владельцу непостижимую, нечеловеческую силу.

Зиверс выдержал паузу, давая словам осесть в сознании фюрера, и затем произнёс медленно, веско, как зачитывают приговор:

— Это не славянский артефакт, мой фюрер. Это гиперборейское наследие. Индоевропейское, протоарийское оружие, утерянное на Востоке в эпоху Великого переселения народов. Оно принадлежало нашим предкам. И теперь, согласно расчётам Крафта, окно силы для его пробуждения открывается именно сейчас — в те самые дни, когда мы планируем крестовый поход против большевизма. Совпадений такого масштаба не бывает, мой фюрер. Это судьба.

Гитлер слушал, и с каждым словом Зиверса его лицо менялось. Угрюмая сосредоточенность уступала место чему-то иному — тому самому, что Крафт видел в «Камере зеркал» два месяца назад. Священный трепет, смешанный с хищным, всё пожирающим восторгом.

— Геопривязка? — Коротко бросил фюрер. — Где конкретно?

Зиверс, не теряя ни секунды, шагнул к столу с картами. Он отодвинул в сторону оперативные планы и разложил свою этнографическую, археологическую карту, испещрённую отметками, красными кружками и пунктирными линиями.

— Вот, мой фюрер. Река Ока. Она берёт начало южнее и течёт на северо-восток, здесь, — его палец скользнул по карте, оставляя невидимый след на бумаге, — огибая Мещерскую низменность. Участок от Рязани до Муром. Крафт, как вы слышали, указал на междуречье Оки. Наши же этнографические данные сужают круг поисков до треугольника, образованного древними городищами, муромскими лесами и монастырями, расположенными под Рязанью. Меч сокрыт где-то там. Вероятнее всего в подземных ходах под одним из старых монастырей. Эти ходы были заложены ещё в домонгольский период, когда христианство только насаждалось на языческих капищах. Язычники прятали свои святыни от крестоносцев. Потом тайна была утрачена.

Зиверс выпрямился и посмотрел Гитлеру прямо в глаза. В его взгляде горел тот же огонь, что и у фюрера.

— Мы знаем квадрат, мой фюрер. Мы знаем, что искать. Мы знаем, когда искать. Осталось лишь отдать приказ.

В зале снова наступила тишина, та особая, плотная, наполненная невысказанным смыслом тишина, предшествующая великим решениям. Крафт застыл, прижимая к груди свою папку. Зиверс стоял навывтяжку, прямой, как клинок. Гитлер молчал, глядя на карту.

Его глаза загорелись. Не просто зажглись интересом — именно загорелись, вспыхнули тем самым лихорадочным, inferнальным пламенем, которое видели все, кто присутствовал при его величайших триумфах. Это именно то, чего он ждал. Знак. Мистическое подтверждение правильности его планов.

План «Барбаросса» был утверждён. Подготовка к вторжению входила в финальную стадию. Но до этой минуты не хватало одного — того самого звена, соединяющего материальное с иррациональным, военную стратегию с оккультным откровением. И теперь это звено было найдено. Клинок. Агриков меч. Гиперборейское наследие, спрятанное в муромских лесах и ждущее своего часа. И час этот настал. Гитлер медленно положил ладонь на карту. Пальцы его сомкнулись над междуречьем Оки. Точь-в-точь как когти хищной птицы, хватающей добычу.

— Москва — это только скорлупа. — Произнёс фюрер тихо, почти шёпотом, но в тишине зала каждое слово прозвучало отчётливо и грозно. — Фельдмаршал фон Бок со своими танками разобьёт её. Но внутри, под этой скорлупой, скрыто истинное яйцо судьбы. — Его голос начал набирать силу, вибрируя той особой, гипнотической энергией, что завораживала мил-

лионы. — Мы разобьём скорлупу. Мы достанем то, что скрыто внутри. И тогда... тогда никто и ничто не остановит нас. Ни Англия, ни Америка, ни сам чёрт в аду.

— Штурмбаннфюрер! — Гитлер выпрямился и посмотрел на Диверсантов. — Операция «Клинок судьбы» вступает в силу немедленно. Вы лично возглавите экспедицию. Свяжитесь с командованием группы армий «Центр». Передайте фельдмаршалу фон Боку: наступление на участке Рязань — Муром должно быть приостановлено ровно настолько, чтобы ваши люди могли провести поиски. Это не просьба. Это приказ фюрера.

— Так точно! — Отчеканил Зиверс, щёлкнув каблуками.

Гитлер перевёл взгляд на Крафта. Швейцарец всё ещё стоял, вцепившись в свою папку, и мелко дрожал.

— А вы, Крафт, — голос фюрера смягчился на полтона, но от этого стал только опаснее, — продолжите расчёты. Мне нужна точная дата, когда клинок будет наиболее... восприимчив. Никаких ошибок. Никаких туманностей. Вы поняли?

— Да, мой фюрер... конечно, мой фюрер... — залепетал Крафт, и его очки снова съехали набок.

Гитлер отвернулся к окну. За стеклом туман наконец начал рассеиваться, и в прорехах, далеко-далеко, блеснули первые лучи заходящего солнца — холодные, бледно-голубые. Точь-в-точь такие, каким ему представлялось сияние меча. Он смотрел на восток, туда, где за тысячи километров, в муромских лесах, под замшелыми сводами древнего монастыря, ждал своего часа клинок, старше богов.

— Идите, — бросил он через плечо. — И помните, рейх не прощает ошибок.

Зиверс и Крафт, пятясь, покинули зал. Дверь затворилась. Гитлер остался один — один на один с картами, с пророчеством, с голубым сиянием, разгорающимся в его воображении всё ярче и ярче. Он знал, это не безумие, а судьба. И судьба с именем Агриков меч, какое скоро узнает весь мир.

Когда тяжёлая дубовая дверь затворилась за Зиверсом и Крафтом и в Большом зале вновь воцарилась тишина, Гитлер ещё несколько мгновений оставался на месте. Отзвуки его собственных слов всё ещё висели в воздухе, смешиваясь с запахом горячего воска и тлеющих углей. Он провёл ладонью по лицу, стирая испарину, выступившую на лбу во время разговора, и глубоко, всей грудью, вздохнул. Представление окончилось. Начиналась работа.

Он покинул Большой зал не через главный вход, а через боковую дверь, скрытую в деревянной панели стены, — узкий, интимный переход, который вёл из парадного пространства в личные покои. Этот коридор был тесным, почти келейным: стены, обшитые тёмным кедром, приглушённый свет бра в форме факелов, мягкая ковровая дорожка под ногами. Пройдя мимо нескольких дверей, Гитлер толкнул последнюю, обитую стёганой кожей, и вошёл в свой малый кабинет.

Это было помещение, разительно отличавшееся от монументального Главного зала. Никакой подавляющей роскоши, никакого имперского пафоса. Скорее — кабинет состоятельного бюргера, ценящего уют превыше показного блеска. Стены здесь тоже были деревянными, но не из светлого кедра, а из тёплого, золотисто-коричневого ореха, и панели их были украшены не военной символикой, а изящной резьбой в тирольском стиле — эдельвейсы, горные козлы, альпийские пейзажи. У одной стены, напротив двери, высился внушительных размеров камин, сложенный из тёмно-зелёного мрамора, добытого где-то в каменоломнях под Зальцбургом. Огонь в нём горел, но не ревел, как в Большом зале, а уютно потрескивал, разбрасывая по комнате мягкие золотистые блики.

Перед камином стояли два глубоких кожаных кресла с высокими спинками и маленький круглый столик между ними, на котором покоилась стопка книг. Над каминной полкой висел портрет Фридриха Великого — единственная уступка официальности, — выполненный мас-

лом, в строгой чёрной раме. Старый Фриц смотрел со стены холодно и оценивающе, словно спрашивая: «Ну, и что ты задумал на этот раз?»

В углу, у зашторенного окна, стоял массивный письменный стол, покрытый тёмно-бордовым сукном. На нём царил идеальный порядок: чернильный прибор, серебряный колокольчик, лампа под зелёным абажуром, несколько папок, сложенных аккуратной стопкой. Но Гитлер направился не к столу.

Вся стена напротив окон была занята картой. Не маленькой, не оперативной, не настольной — с гигантской, от пола до потолка, картой Восточной Европы, закреплённой на специальных рейках. Она была расчерчена с той скрупулёзной, почти художественной тщательностью, какая отличала лучших картографов Генерального штаба. Реки — голубые извилистые ленты. Леса — тёмно-зелёные массивы. Дороги — красно-коричневые пунктиры. Города — аккуратные кружки с подписями готическим шрифтом. Здесь, в этом уютном кабинете, далеко от посторонних глаз, он имел обыкновение обдумывать свои истинные планы — те, о которых не знали даже генералы.

Гитлер подошёл к столу, но садиться не стал. Он нажал кнопку, скрытую под столешницей, — крошечный рычажок из слоновой кости, вмонтированный в дерево. Где-то в глубине дома раздался приглушённый звонок. Через минуту дверь бесшумно отворилась, и на пороге возник адъютант. На этот раз не тот высокий, рослый Гюнше, а другой, пониже и поплотнее, с незапоминающимся лицом идеального служаки.

— Мой фюрер? — произнёс он, вытягиваясь в струнку.

Гитлер повернулся к нему, и лицо его, только что хранившее следы усталости и напряжения, смягчилось. Голос, которым он заговорил, был непривычно тихим, почти мягким, тем редким голосом, который слышали лишь самые близкие, да и то нечасто.

— Будьте добры, распорядитесь насчёт горячего чая, — произнёс он, и в интонации его не было ни следа недавнего лающего фальцета. — Травяного. Ромашка, мята. И, пожалуй... пусть принесут печенье. То, сухое, с тмином.

Адъютант кивнул и исчез за дверью, притворив её с той же бесшумной почтительностью. Гитлер остался стоять посреди кабинета. Он снял френч, оставшись в простой белой рубашке с закатанными до локтей рукавами, и повесил его на спинку кресла. Железный крест звякнул о дерево. Затем он расстегнул верхнюю пуговицу воротничка, ослабил галстук. Только здесь, в этом кабинете, он позволял себе такую вольность.

Через несколько минут дверь снова отворилась, и вошёл слуга. Тот самый пожилой, лысоватый, которого фюрер недавно выгнал из Большого зала, но сейчас он держался увереннее, зная, что гроза миновала. На серебряном подносе он нёс стакан в массивном серебряном подстаканнике, от него поднимался ароматный пар, и такую же серебряную вазочку, доверху наполненную сухим печеньем — тем самым, с тмином, которое Гитлер любил с детства, ещё с тех времён, когда мать пекла его на маленькой кухне в Леондинге.

Слуга поставил поднос на край стола, поклонился и попятился к двери, стараясь не поворачиваться к фюреру спиной. Когда дверь закрылась, Гитлер взял стакан обеими ладонями. Тепло просочилось сквозь серебро подстаканника, согревая пальцы. Он поднёс стакан к лицу, вдохнул пар — ромашка, мята, что-то ещё, чуть сладковатое, и сделал маленький, осторожный глоток. Чай обжёг губы, но тут же разлился по телу приятным, успокаивающим теплом. Он взял печенье, откусил кусочек — сухое, рассыпчатое, с характерным пряным привкусом тмина. Вкус детства. Вкус времени, когда мир был прост, а враги — лишь мальчишки из соседнего квартала.

Несколько минут он стоял так, у стола, маленькими глотками отпивая чай и рассеянно глядя на карту, занимавшую всю противоположную стену. Затем поставил стакан на поднос, отряхнул крошки с пальцев и медленно, заложив руки за спину, шагнул к карте.

Она была великолепна, огромная, детальная, залитая мягким светом настенных бра. От пола до потолка — Советский Союз, расчерченный на квадраты, сектора, зоны ответственности групп армий. Синие стрелы танковых клиньев, красные линии предполагаемых линий обороны противника, чёрные флажки с номерами дивизий. Но сейчас Гитлера интересовал лишь один участок.

Он остановился прямо перед ним. Рязань. Муром. Извилистая лента Оки, голубая нить, связывающая два города. Вокруг — зелёные пятна Мещерской низменности, Муромских лесов. Он поднял руку и коснулся пальцем того самого квадрата, сегодня уже накрываемого ладонью на другой карте, в Большом зале. Но здесь, в тишине, в одиночестве, этот жест был иным — не приказом, а почти лаской. Так касаются не карты, а лица возлюбленной.

— Здесь, — прошептал он. — Где Ока встречается лес. Где клинок, старше богов, лежит под замшелыми сводами.

Палец его медленно скользнул вниз, по течению реки, затем остановился на точке, где, согласно донесениям разведки, находился старый монастырь — один из тех, что мог скрывать подземные ходы.

— Фон Бок получит приказ, — продолжал он, и в голосе его звучала та особая, завораживающая ритмичность, с какой он обычно разговаривал сам с собой. — Танки остановятся. Авиация не тронет этот квадрат. Зиверс войдёт в эти леса, найдёт монастырь, спустится в подземелье. И меч будет моим.

Он отступил на шаг, окинул карту взглядом, словно полководец, обзоревающий поле боя перед решающей атакой. Затем вернулся к столу, взял стакан с остывающим чаем и снова сделал глоток.

— А ты, Крафт... — Усмехнулся он уголком губ, общение с медиумом и Завесой завершились четверть часа назад. — Молись своим звёздам. Молись, чтобы они не ошиблись. Потому что я не прощаю ошибок.

Он поставил стакан на поднос, подошёл к креслу у камина и опустился в него. Впереди была ночь, полная раздумий и планов. Но сейчас, на несколько минут, он позволил себе просто сидеть, глядя на огонь и сжимая в руке последнее печенье с тмином. Где-то в глубине дома пробили часы. За окном, невидимое за шторами, сгушалось апрельское небо. А на востоке, в муромских лесах, где Ока встречается лес, голубое сияние разгоралось всё ярче — или это лишь отблеск камина в его глазах?

Глава 4. Видение наследника

Кабинет профессора Акимова, МГУ.

Профессор Акимов перевернул страницу в своей папке, и звук этот — сухой, шуршащий вернул Дмитрия из далёкого Иерусалима обратно в прокуренную каморку над университетской аудиторией.

— А теперь, — произнёс Александр Иванович, и его голос изменился, стал жёстче, суше, деловитее, — слушайте самое важное. То, что я расскажу сейчас, касается уже не легенд и хроник, а непосредственных событий, предшествовавших нашему с вами делу.

Он вынул из папки мутную, плохо пропечатанную фотографию. Снимок был сделан, судя по всему, для служебного удостоверения. Молодой мужчина, лет двадцати семи, в форме с петлицами лейтенанта госбезопасности. Лицо узкое, с острыми, словно заточенными скулами, тонкие губы плотно сжаты, подбородок упрямый, волевой. Тёмные глаза смотрят прямо в объектив, и в их выражении ни тепла, ни сочувствия, лишь холодная, расчётливая сосредоточенность человека, привыкшего выполнять приказы, не задавая вопросов.

— Матвей Фёдорович Остинский, — представил его Акимов. — Двадцать семь лет. Лейтенант госбезопасности. Внук расстрелянного в девятнадцатом году белогвардейского офицера, сын репрессированного в тридцать седьмом инженера. Человек, для которого служба в НКВД была не выбором, а единственным способом выжить и доказать лояльность новой власти. Холодный, исполнительный, умный. Идеальный кандидат для секретной миссии.

Профессор вынул из папки машинописный лист с грифом «Совершенно секретно» в правом верхнем углу. Бумага пожелтела, но текст ещё можно было разобрать.

— Вот посмотри. — Сказал он. — Приказ, спущенный из Москвы в октябре сорок первого года, когда передовые части группы армий «Центр» уже вышли на подступы к Рязани. «Для выполнения специального задания государственной важности прикомандировать к оперативно-поисковой группе Хранителей лейтенанта госбезопасности Остинского М. Ф. Ответственному за операцию Остинскому М. Ф. в случае обнаружения объекта „Меч“ немедленно изъять его у членов группы и доставить лично наркому». Подпись, дата, исходящий номер.

— То есть Остинский был не просто сопровождающим, — Дмитрий прочитал документ дважды, потом медленно проговорил. — Он был цербером. Наблюдателем. Его задача заключалась в том, чтобы дать Хранителям — краеводам, монахам, музейщикам — сделать всю работу: найти меч, определить местонахождение, возможно, извлечь. А в последнюю минуту он должен был отобрать артефакт и доставить его в Москву. Не Хранителям, не науке, не церкви — а наркому.

— Совершенно, верно, — кивнул Акимов, и в его голосе прозвучала горькая ирония. — Хранители, которых ещё вчера сажали и расстреливали за «хищение социалистической собственности», теперь понадобились государству. Их знания, их навыки, их тайные описи — всё это было мобилизовано для того, чтобы опередить немцев. Но ни у кого не было иллюзий: как только меч окажется в руках Хранителей, Остинский выполнит приказ. Меч должен был стать собственностью советского государства. А если точнее — лично товарища Сталина, по слухам, проявлявшего живейший интерес к эзотерическим артефактам и их возможному применению в военных целях.

Профессор налил себе стакан воды из запотевшего графина, стоявшего на краю стола, сделал глоток и продолжил:

— Но вот что важно, Дмитрий Иванович. В документах, которыми я располагаю, нет ни единого упоминания о том, что меч был найден. Понимаете? Ни единого!

Он перебрал несколько листов из папки и разложил их перед Дмитрием, как карты на игорном столе.

— Вот отчёт руководителя группы Хранителей — некоего профессора Введенского, крупного специалиста по рязанским древностям, репрессированного в тридцать седьмом, но освобождённого в начале войны «под надзор». В отчёте сказано: «В период с 15 по 23 октября 1941 года группой проводились поисковые работы в районе бывшего монастыря Рождества Богородицы что на Оке. Были обследованы руины, подземные ходы, опрошены местные жители. Объект не обнаружен. Поиски были прерваны ввиду приближения передовых частей противника».

— Вот рапорт самого Остинского, — Акимов пододвинул другой лист, — ещё более лаконичный: «Операция по обнаружению объекта „Меч“ завершена безрезультатно. Группа расформирована. Материалы прилагаются». И приписка карандашом: «Хранители подлежат возвращению в места постоянного проживания под подписку о неразглашении».

— А вот, — профессор извлёк из папки пожелтевшую справку на бланке НКВД, испи-санную аккуратным писарским почерком, — единственное, что уцелело из материалов, подготовленных Хранителями по итогам работы. Описание самого меча. Зачитаю: «Меч Агриков, именуемый также Мечом-кладенцом, представляет собой обоюдоострый клинок из металла синеватого отлива, длиной около трёх локтей. В темноте испускает свечение голубого цвета, видимое на расстоянии. Согласно преданиям, наделяет владельца нечеловеческой силой и неуязвимостью. Хранился в крипте монастыря Рождества Богородицы что на Оке. После разрушения монастыря в 1935 году местонахождение неизвестно. Предположительно, сокрыт Хранителями в одном из подземных ходов близ русла Оки». Это всё, что у нас есть.

Дмитрий взял справку, вчитался в строки, чувствуя, как внутри него нарастает напряжение.

— Информации очень мало. — Произнёс он, — вы даёте мне описание меча, но не даёте ответа, где он сейчас.

— К сожалению у меня нет ответа для тебя. — кивнул Акимов. — Меч был где-то спрятан Хранителями ещё в середине тридцатых, когда монастырь взорвали по приказу местных властей. Затем, в октябре сорок первого, его пытались найти сразу две группы — наша и немецкая. Чем это кончилось, знают только мёртвые. Возможно, Хранители нашли меч, но скрыли это от Остинского. Их руководитель, профессор Введенский, был человеком старой закалки и терпеть не мог чекистов. Возможно, Остинский нашёл меч, но не доложил об этом начальству из каких-то своих, карьерных или даже корыстных соображений. Возможно, меч до сих пор лежит где-то под рязанской землёй, в затопленном подземном ходе, и ждёт своего часа. А возможно... — профессор понизил голос и бросил быстрый взгляд на дверь, словно опасаясь, что их подслушивают, — его уже ищут. Прямо сейчас.

— Всеволод Градов? — произнёс Дмитрий и положил бумагу на стол. — Внук Матвея Остинского. Тот самый бизнесмен, о котором говорил Владимир. Тот, кто ищет «голубой клинок». Тот, кто мечтает о власти.

— Да, — подтвердил Акимов. — Всеволод Градов — родной внук Остинского. Его мать, дочь лейтенанта, после войны вышла замуж за какого-то партийного работника и сменила фамилию. Но семейные архивы сохранились. У Градова есть деньги, связи, доступ к закрытым базам данных. Если он узнал тоже, что и я, если он понял, кем был его прадед и зачем его отправили в Рязань в сорок первом, если он нашёл ту самую медную пластину с шифром, которую, по легенде, Остинский хранил у себя... — профессор не закончил фразы. Он лишь развёл руками, и в этом жесте было больше красноречия, чем в любых словах.

Акимов замолчал, зелёный абажур лампы бросал на его лицо причудливые тени, отчего глубокие морщины казались ещё глубже, а глаза — совсем тёмными, как у человека, заглянувшего в бездну, но не смог забыть увиденного. Он медленно собрал рассыпанные по столу бумаги, аккуратно сложил их в папку и завязал тесёмки тем же бережным, почти ритуальным жестом, каким, наверное, его отец когда-то завязывал ремни на старом саквояже. Пальцы про-

фессора, сухие и узловатые, двигались неторопливо, но уверенно — так двигаются руки человека, привыкшего обращаться с хрупкими вещами.

— Вот, собственно, и всё, Дмитрий. — Произнёс он устало, и в его голосе прозвучала та особая, глубокая усталость, которая приходит не от физического труда, а от долгого, выматывающего душу знания. — Два наследника. Два внука. Один — потомок чекиста, другой — потомок эсэсовца. И оба охотятся за одним и тем же артефактом. Забавная вышла бы шутка истории, если бы не была такой страшной.

Он пододвинул папку через стол — толстую, разбухшую от бумаг, с потрескавшимися картонными корочками, обтянутыми чёрным коленкором.

— Здесь всё, что мне удалось собрать за эти годы. Копии, разумеется, оригиналы я не держу, слишком опасно. Можешь забрать для изучения, и, ради всего святого, будь осторожен. Эти люди не остановятся ни перед чем. Градов — потому что считает меч своим по праву крови, по наследству, которое его прадед должен был добыть для советской власти, но, похоже, решил припрятать для себя. А фон Штубен... — профессор помедлил, подбирая слово, и его губы искривила горькая усмешка, — фон Штубен — потому что получил завещание. От тех, кто давно уже должен был сгинуть в небытии, но каким-то дьявольским образом сумел дотянуться до нашего времени.

Дмитрий поднялся, чувствуя, как затекли ноги от долгого сидения на продавленном стуле. Пружины жалобно скрипнули, отпуская его. Он пожал профессору руку — сухую, тёплую, неожиданно крепкую для такого возраста — и направился к двери. У порога он обернулся и несколько мгновений вглядывался в сгорбленную фигуру Акимова, одиноко сидящего в круге зелёного света, среди стопок книг и кип бумаг, похожего на старого алхимика в своей лаборатории.

— Александр Иванович, а вы верите, что меч действительно существует? Не как легенда, а как реальный предмет, который можно найти и ... использовать?

Акимов поднял голову, и в его глазах, усталых, покрасневших от многочасового чтения, мелькнуло что-то очень похожее на страх. Но ответил он твёрдо:

— Верю. И именно поэтому я надеюсь, что он никогда не будет найден. Никем.

Дверь за Дмитрием закрылась мягко, почти беззвучно — старая, разошедшаяся, она не хлопала, а лишь плотно вставала в косяк, отрезая каморку от внешнего мира. В кабинете снова воцарилась тишина, нарушаемая только тихим, монотонным жужжанием лампы да редкими всхлипами ветра в печной трубе. Профессор, оставшись один, долго сидел неподвижно, глядя на пляшущие пылинки в зелёном свете, и думал о том, что, кажется, он только что запустил цепь событий, которую уже невозможно остановить.

ФРГ, резиденция фон Штубена, г. Бонн.

Где-то далеко, за сотни километров от этой прокуренной каморки, в старинном особняке под Бонном, другой человек в эти самые минуты, возможно, тоже не спал — сидел над картами и досье, готовясь начать охоту. Курт фон Штубен родился с этим именем и с этой кровью. Остзейская кровь — особая статья: его предки веками служили сначала шведской короне, потом русскому императору, а потом и фюреру.

Они не были в полном смысле немцами и давно перестали быть русскими, но именно эта двойственность, эта принадлежность к двум мирам одновременно давала им особое чутьё. Это способность чувствовать движение истории раньше других, видеть то, что скрыто от глаз обывателей. Фон Штубены всегда оказывались в нужном месте в нужное время. Они меняли сюзеренов с той же лёгкостью, с какой другие меняют перчатки, но всегда сохраняли верность одной-единственной вещи — родовому имени и тому наследию, стоявшим за этим именем.

Дед Курта, Манфред фон Штубен, обладал этим чутьём в полной мере. Именно поэтому Гиммлер лично, после долгой беседы с глазу на глаз в берлинском кабинете, поставил его во главе зондеркоманды «Аненербе», отправленной в октябре сорок первого года в рязанские леса. Именно поэтому старый оберфюрер умер в 1991 году тихо, во сне, в своём любимом кожаном кресле у погасшего камина с убеждением, что не выполнил главную миссию своей жизни. И именно поэтому его внук, сидя в своём кабинете в Бонне и глядя на догорающий за Рейном закат, знал: он завершит то, что дед начал. Знал не умом даже, а чем-то более глубинным — той самой остзейской кровью, не терпящей незавершённых дел.

Детство Курта прошло под рассказы о войне. В родовом поместье под Бонном — старом трёхэтажном особняке, построенном в псевдогоготическом стиле ещё при Бисмарке, — был каминный зал. Просторная, но мрачноватая комната с высоким лепным потолком, с которого свисала тяжёлая бронзовая люстра на тридцать свечей, давно уже переделанная под электричество, но всё ещё хранившая следы копыт на плафонах. Стены были обшиты дубовыми панелями, потемневшими от времени и сигарного дыма настолько, что в сумерках они казались почти чёрными, и лишь днём, когда солнце пробивалось сквозь высокие стрельчатые окна, можно было различить благородный тёмно-коричневый оттенок и тонкую резьбу, покрывавшую филёнки.

На этих стенах висели охотничьи трофеи, собранные несколькими поколениями фон Штубенов: головы оленей с ветвистыми рогами, увенчанными табличками с датами и местами охоты; кабаньи клыки в серебряной оправе, поблёскивающие в свете камина жёлтой, старой костью; чучело орла, расправившего крылья под самым потолком. Его стеклянные глаза, казалось, следили за каждым движением в комнате. Между трофеями висели портреты предков в золочёных рамах.

Над камином, сложенным из грубого тёмного камня, привезённого когда-то из Тироля, господствовал портрет прапрадеда в мундире кайзеровской армии — суровый мужчина с бакенбардами, Железным крестом на груди и тем особым, холодным взглядом, казалось, проникавшим прямо в душу. По бокам от него помещались портреты других остзейских фон Штубенов — все как один белокурые, с холодными серыми глазами, тонкими, плотно сжатыми губами и той же фамильной чертой: упрямым, выдающимся вперёд подбородком, говорившим о нестигаемой воле.

В глубоком кожаном кресле у камина — кресле, помнившим ещё кайзеровские времена, с продавленным сиденьем и подлокотниками, отполированными до блеска ладонями трёх поколений, — просиживал вечера старый Манфред. Это был сухой, жилистый старик с коротко стриженными белыми волосами, всегда зачёсанными назад и чуть припудренными перхотью на воротнике. Его кожа, обтягивавшая острые скулы и волевой подбородок, напоминала старый пергамент, жёлтая, тонкая, с сеткой глубоких морщин. Но главным в его лице были глаза: светло-серые, почти бесцветные, цвета закалённой стали, они сохраняли ту пронзительную ясность и холодную остроту, которую не смогли притупить ни возраст, ни поражение в войне. Он кутался в шотландский плед даже летом — старые кости мёрзли, сказывались русские морозы сорок первого, когда он, ещё молодой, полный сил оберфюрер, прочёсывал рязанские леса в лёгкой полевой форме и навсегда застудил себе лёгкие. Пил он рейнское маленькими глотками из тонкого хрустального бокала, но хмелел не от вина — от воспоминаний.

Маленький Курт, белокурый мальчик с теми же фамильными серыми глазами и упрямым подбородком, сидел на медвежьей шкуре у его ног. Шкура была огромная, чёрно-бурая, с оскаленной пастью и стеклянными глазами, и мальчику иногда казалось, что она ещё живая, что она дышит и вот-вот сомкнёт свои страшные челюсти. Но рядом с дедом он чувствовал себя в безопасности.

Дед был единственным человеком в мире, которого маленький Курт по-настоящему боялся и единственным, кого он по-настоящему уважал. Отец, вечно занятый бизнесом и мель-

кавший где-то на периферии детской вселенной, не шёл ни в какое сравнение с этой сухой, жилистой фигурой, от которой веяло чем-то древним, опасным и непостижимым.

— Мы прочёсывали эти проклятые леса, — говорил дед, и его голос, обычно сухой и отрывистый, как лай старого фельдфебеля, становился вдруг мечтательным, почти мальчишеским. — Октябрь, Курт. Самый скверный месяц в России. Дождь пополам со снегом, грязь по колено, небо серое, как солдатское одеяло. Русские называли это место «Вышгород». Когда-то там стоял монастырь древний, ещё до монголов построенный, когда эти дикари ещё и представления не имели о цивилизации. В его подземных ходах, говорили старинные летописи, был сокрыт меч. Агриков меч.

При этих словах голос деда всегда понижался до шёпота, и Курт, затаив дыхание, подвигался ближе. Дед делал глоток вина, и каминный огонь отражался в его глазах, заставляя их мерцать зловещим багрянцем.

— Клинок, сияющий во тьме голубым светом. Тот, кто возьмёт его в руки, станет непобедим. Ни пуля, ни штык, ни снаряд не возьмут его. Целые армии обратятся в бегство от одного его вида. Это не сказки, мальчик. Я видел документы. Я видел летописи. Я знаю, что этот меч существует.

Он надолго замолкал, глядя в огонь, и маленький Курт не решался нарушить эту тишину. Он представлял себе таинственное голубое свечение, пробивающееся сквозь толщу земли, представлял деда — молодого, в чёрной эсэсовской форме, с фонарём в одной руке и пистолетом в другой, — спускающегося в тёмный подземный ход.

Эти образы были ярче любых кинофильмов и страшнее любых сказок братьев Гримм. Они врезались в память мальчика так глубоко, что и двадцать, и тридцать лет спустя он мог воспроизвести их с фотографической точностью: каждую трещину на каменных сводах, каждую каплю воды, срывающуюся с потолка, каждую тень, пляшущую на стенах.

— Мы были в двух шагах от него, Курт, — продолжал дед, выныривая из своего молчания. — Я чувствовал его. Холод, исходящий от земли, странное покалывание в пальцах как будто электричество. Мои люди нервничали, лошади шарахались от развалин, отказывались идти дальше. Но русские опередили нас. Или, может быть, само Провидение решило, что время ещё не пришло. Мы получили приказ отступать — фронт пополз назад, и нам стало уже не до мечей.

Он снова замолкал, но теперь это молчание было другим — тяжёлым, наполненным горечью поражения. Курт, даже в свои десять лет, понимал: дед не простил себе этого отступления. Он считал, что судьба дала ему шанс, а он его упустил. И эта мысль грызла его до самой смерти.

Став старше, Курт перестал верить в дедовские байки. Университет, бизнес-школа, первые сделки, первые миллионы — сказки старого Манфреда померкли, отступили на задний план, стали казаться детскими воспоминаниями, не имеющими отношения к реальной жизни. Курт стал прагматиком. Он смотрел на мир холодными глазами человека знающего, что сила — в деньгах, в связях, в информации.

А не в мифических мечях, выкованных до Потопа. Он редко навещал деда в последние годы его жизни, а когда старик умер — тихо, во сне, в своём любимом кресле у погасшего камина, с так и не допитым бокалом рейнского на подлокотнике, — Курт почти не горевал. Почти. Он отстоял похороны с каменным лицом, выслушал соболезнования, подписал бумаги на наследство и вернулся в Бонн, в свой стеклянный офис, где всё было понятно, рационально и подконтрольно. Но иногда, по ночам, когда деловые заботы отступали и город за окном затихал, он ловил себя на том, что думает о голубом свечении. И не мог уснуть до утра.

Прежде чем продолжить историю Курта, следует сказать несколько слов о человеке, ставшего его правой рукой — и, возможно, единственным существом на свете, которому фон Штубен-младший доверял полностью. Клаус Майер родился в семье простого мюнхенского слесаря и с детства знал, что его удел — физическая сила, а не интеллект. Он был крупным ребёнком,

потом крупным подростком, а потом и крупным мужчиной с бритым черепом, с ростом метр девяносто пять росту, сто двадцать килограммов весу.

На его бычьей шее татуировка в виде руны «зиг» соседствовала со шрамом от ножа, полученным ещё в юности в одной из драк на окраине Мюнхена. Глаза у него были маленькие, глубоко посаженные, свинцового цвета, и смотрели они на мир с тем выражением спокойной, уверенной жестокости, свойственной людям, давно решившим для себя все моральные вопросы.

В бундесвер Клаус пошёл сразу после школы и быстро сделал карьеру в спецназе. Он обладал редким сочетанием качеств: абсолютным бесстрашием, феноменальной физической выносливостью и полным отсутствием воображения. Он не задавал вопросов — он выполнял приказы. Он не размышлял о последствиях — он действовал. Идеальный солдат — идеальный инструмент.

Эта безупречность его и подвела: во время подавления беспорядков в одном из восточных земель он проявил «излишнюю жестокость» — так было написано в рапорте. На самом деле Клаус просто делал то, что умел лучше всего: он сломал несколько костей особо ретивому демонстранту, а когда тот, лёжа на асфальте, продолжал выкрикивать оскорбления, наступил ему на горло. Демонстрант выжил, но шум поднялся большой. Клауса уволили с позором.

Курт нашёл его через полгода после увольнения, когда Клаус перебивался случайными заработками — вышибалой в ночном клубе, охранником на автостоянке, коллектором у мелкого ростовщика. Фон Штубен умел разглядеть потенциал в людях. Он увидел в этом мрачном, озлобленном гиганте идеальный инструмент и не ошибся. Клаус стал не просто телохранителем. Он стал тенью Курта, его правой рукой, начальником его личной службы безопасности.

Он стал носителем той самой идеи, которую Курт когда-то, под хорошее настроение и после нескольких бокалов рейнского, неосторожно озвучил в его присутствии: идеи нового порядка, нового рейха, в котором такие, как они — сильные, беспощадные, не обременённые моральными предубеждениями, — займут подобающее место.

Клаус был предан Курту не за деньги, хотя платил ему фон Штубен более чем щедро. Он был предан ему за идею. За мечту. За то будущее, в котором он, бывший спецназовец с позорным увольнением, станет одним из столпов нового мира. И эта преданность была абсолютной.

Два года назад Курт приехал в поместье, чтобы разобрать бумаги. Последняя дальняя родственница, присматривавшая за домом, съехала в дом престарелых, и особняк, простоявший закрытым несколько месяцев, встретил его запахом пыли, старого дерева и запустения. Была ранняя весна — та пора, когда зима уже отступила, но тепло ещё не пришло, и в каменных стенах старого дома стоял холод, какой бывает только в давно не отапливаемых постройках.

Курт вошёл в парадную дверь, и его шаги гулко отдались в пустом вестибюле. С высокого сводчатого потолка на него смотрели знакомые с детства фрески — аллегорические изображения Войны и Мира, выполненные ещё в прошлом веке каким-то модным мюнхенским живописцем. Война была изображена в виде рыцаря в доспехах, с мечом в руке; Мир — в виде женщины с младенцем и снопом пшеницы. Курт помнил, как в детстве боялся этой Войны, особенно её пустых, тёмных глазниц на бронзовом забрале.

В высоких комнатах с лепными потолками мебель, накрытая выцветшими простынями, походила на призраков. Простыни эти, когда-то белые, теперь пожелтели и покрылись серыми разводами от сырости. Курт шёл через анфиладу комнат — гостиную с камином, столовую с длинным дубовым столом, за которым когда-то собиралось по тридцать гостей, библиотеку с книжными шкафами от пола до потолка, и чувствовал себя чужим. Портреты предков на стенах провожали его неодобрительными взглядами. Ему казалось, что они спрашивают: «Что ты сделал с нашим наследием? Почему ты не приезжал? Почему ты бросил наш дом?» Он отводил глаза и шёл дальше.

Он нанял оценщика — суетливого человечка в очках, бегавшего из комнаты в комнату с лупой и блокнотом, распорядился составить опись имущества и уже подумывал выставить

поместье на продажу. К чему ему этот склеп? К чему эти призраки? Он — современный человек, бизнесмен, его место в стеклянном офисе, а не в заплесневелом особняке, пропахшем воспоминаниями о том, о чём лучше не вспоминать. Он почти принял решение, когда вспомнил о чердаке.

Чердаков Курт не любил с детства. В этом поместье чердак был особенно мрачным: огромное пространство под самой крышей, с низкими наклонными балками, о которые вечно бился лбом, с затянутыми паутиной углами, где шуршали невидимые мыши, и с той особой, гнетущей тишиной, казалось, поглощавшей все звуки. В тот день, в начале марта, моросил мелкий, противный дождь, и вода, скатываясь по черепичной крыше, создавала монотонный, усыпляющий шум.

Под крышей было холодно, гораздо холоднее, чем внизу и сыро. Единственная лампочка, свисавшая на длинном шнуре с потолочной балки, едва освещала горы коробок, старых чемоданов и какой-то рухляди, прикрытой выцветшими простынями. Пахло мышами, старой бумагой и тем особым, чуть сладковатым запахом тлена, который бывает только в очень старых домах, как будто само время здесь замедлилось и начало разлагаться.

Курт пробирался между нагромождениями старой мебели, сломанных стульев, пыльных сундуков с оторванными крышками. Луч его мощного фонарика выхватывал из темноты то старую швейную машинку «Зингер», то пожелтевший глобус с ещё не распавшейся Британской империей, то кипу газет тридцатых годов, перетянутых шпагатом. Он почти повернул обратно, когда наткнулся на него — старый кожаный портфель, задвинутый в самый дальний угол, за массивный платяной шкаф красного дерева. Если бы не случайный отблеск фонарика на бронзовой застёжке, он бы его не заметил.

Курт с трудом вытащил портфель из-за шкафа, тот был тяжёлый, гораздо тяжелее, чем можно было ожидать. Кожа, когда-то чёрная, теперь побурела и потрескалась, но всё ещё сохраняла остатки бывшего благородства. На крышке была вытиснена монограмма «M. v. S.» — «Манфред фон Штубен». Бронзовый замочек, миниатюрный, изящный, позеленел от времени. Ключа не было, но Курт, недолго думая, сбил замок рукояткой складного ножа — того самого, с которым он не расставался со времён службы в армии. Бронза, ставшая хрупкой от коррозии, поддалась с сухим треском.

Внутри лежали документы. Аккуратно сложенные, перетянутые резинками, тут же лопнувших от прикосновения, превратившись в труху. Пожелтевшие листы с печатями, на них ещё можно было разобрать имперского орла и свастику. Эти символы, казалось, намертво въелись в бумагу, и время оказалось бессильно перед ними. Тонкая картонная папка с готической надписью от руки: «Objekt: Schwert des Agrik. Geheim!» — «Объект: Меч Агрика. Секретно!». Курт раскрыл папку, и его дыхание перехватило.

Внутри были машинописные листы на бланках «Аненербе» — тяжёлая, качественная бумага, почти картон, с филигранью в виде молота Тора. Фотографии каких-то старинных рукописей, очевидно, изъятых когда-то из советских архивов. И карты. Подробные топографические карты Рязанской области с пометками, сделанными рукой его деда. Мелкий, убористый почерк, характерные росчерки над «и» и «п» — Курт узнал бы его из тысячи. Красными чернилами были обведены излучина Оки, место бывшего монастыря Рождества Богородицы и предполагаемый вход в подземный ход.

Синими — маршруты патрулей, зоны, которые удалось обследовать. Зелёными — места, где, по словам местных жителей, когда-то находили странные предметы или наблюдали необъяснимые явления. Карта была вся исчерчена, испещрена значками и пометками — видно было, что дед работал над ней долго и тщательно, возвращался к ней снова и снова, даже после войны, даже когда все надежды на возобновление поисков уже рухнули.

И отдельный документ. Личное распоряжение, подписанное Вольфрамом Зиверсом, руководителем «Аненербе». Подпись была размашистая, с тяжёлым нажимом — так подписы-

ваются люди, привыкшие к власти и не терпящие возражений. С резолюцией вверху, сделанной красным карандашом: «Handeln auf Befehl des Führers. Das Objekt muss um jeden Preis gefunden werden» — «Действовать по приказу фюрера. Объект должен быть найден любой ценой».

Курт долго сидел на корточках посреди пыльного чердака, и в его руках, привыкших к холодной, стали «Вальтера», и к твёрдой уверенности деловых соглашений, дрожали пожелтевшие страницы. Дрожали — да, он помнил это отчётливо и позже, вспоминая эту минуту, всегда испытывал смешанное чувство стыда и восторга. Дедовы сказки вдруг обрели плоть. Они лежали перед ним — документированные, подписанные, заверенные печатями. Они были реальны. Они были настоящими. И вместе с этим осознанием пришло другое, более тяжёлое.

Деньги. Те самые деньги, на которых он построил свою бизнес-империю. Он ведь всегда знал, откуда они, но предпочитал не думать. Так было удобнее — считать себя self-made man, человеком, сам себя сделавшим, своим умом и своими руками добившегося всего, что имеет. Правда была проще и грязнее, его заводы в Рурской области, его акции на Франкфуртской бирже, его счета в швейцарских банках, его логистическая компания с филиалами в пятнадцати странах — всё это выросло из тех ценностей, вывезенных дедом с оккупированных территорий. Из музейных собраний Варшавы, разграбленных в тридцать девятом. Из киевских архивов, опустошённых в сорок первом. Из картин, сорванных со стен новгородских церквей. Из того, что на языке послевоенных трибуналов называлось «преступлениями против человечности» и каралось смертной казнью.

Курт аккуратно, стараясь не повредить хрупкую бумагу, сложил всё обратно в портфель и спустился в кабинет деда. Там, в окружении портретов остзейских предков, он долго сидел в том самом кожаном кресле, в котором когда-то слушал дедовские рассказы. Камин не горел уже много лет. В комнате было холодно — так холодно, что пар вырывался изо рта белыми клубами. Но он не замечал холода. Он думал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.